

СВЕТЛАНА
ВОЛКОВА

ГОЛОВА РУКОТВОРНАЯ



ЛИМБУС
ПРЕСС



Светлана Волкова
Голова рукотворная

«Издательство К.Тублина»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Волкова С. В.

Голова рукотворная / С. В. Волкова — «Издательство
К.Тублина», 2021

ISBN 978-5-8370-0903-7

«Голова рукотворная» – история двух очень разных людей. Художника Мосса при виде бабочек охватывает панический страх, с которым он безуспешно борется всю жизнь. Врач-психиатр Логинов берётся вылечить недуг пациента новым необычным методом. Эта книга о природе наших страхов, о том, чего мы боимся, о непростых отношениях учёного и объекта его изучения, о тонкой грани между любовью и зависимостью от любви, о людях и той необъяснимой силе, которая движет их поступками, о том, что мы сами делаем со своей головой.

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-8370-0903-7

© Волкова С. В., 2021
© Издательство К.Тублина, 2021

Содержание

1	6
2	7
3	11
4	22
5	33
6	42
7	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Светлана Волкова

Голова рукотворная

*Автор выражает благодарность своим консультантам,
докторам Всеволоду Владимировичу Самойленко и Светлане Олеговне
Наумовой*

На основе реальных событий

© ООО «Издательство К. Тублина», 2021

1

Вы думаете, что знаете человека, который живёт рядом с вами? Полагаете, что в шорохе ночи можете угадать его шаги, и шелест голоса за дверью, и запах волос? На ощупь, с закрытыми глазами, самыми кончиками пальцев провести по изгибу ушной раковины – и замереть от блаженной радости узнавания?

Наслаждайтесь последними мгновениями обмана! Вы никогда не узнаете, кто рядом с вами. Вы можете лишь прикоснуться к бездонной тайне другого мира – мира чужого человека, если вам позволят. Близкий всегда чужой. Его близость зависит лишь от малого отрезка времени, когда ваши с ним орбиты пересеклись, всё остальное – иллюзия...

Наверное, надо было начать именно так.

2

В глухую ноябрьскую ночь, когда ветер ковыряет оконные щели, на двадцать девятый день своего существования эмбрион Виктора Мосса почувствовал толчок и сильную боль. Его крохотное сердце, размером с маковое зёрнышко – какое бывает у простейших червей, – вздрогнуло и на миг перестало биться, словно окаменев. Холод железа коснулся головы, из которой Мосс состоял почти полностью, и волна качнула с такой мощью, что он перевернулся. Его брат-близнец, отделённый от него лишь тонкой мутной плёнкой, дёрнулся и ушёл в тёмную пасть трубки, как пиявка уходит в пробирку. Когда железо вернулось вновь, Мосс сжался, превратившись в запятую – кривенькую, беспомощную. Избежать того, что должно было произойти, невозможно – вот если только было бы окно, а в окне свет, и ты улетел бы, как мотылёк...

– Остановитесь! – крикнула его мать на вздохе и, захлёбываясь, начала хватать ртом воздух, как рыба.

– Мы не закончили, – ответил усталый равнодушный голос, – их двое.

– Нет! Нет! Я передумала! Умоляю вас!

– Не дёргаться!

На неё прикрикнули, сжали до боли запястья.

– Я не могу! – заикаясь от слёз, прошептала мать. – Не могу!

Громкий высокий голос снова предупредил её о возможности ненормального развития плода, о последствиях, о том, что вероятность необратимых изменений составляет девяносто девять процентов и если ребёнок выживет в первый год после рождения, то вся её дальнейшая жизнь будет адом.

Мать только мотала головой, задыхаясь от раздражающей её боли: отходил дешёвый наркоток. Горький запах лекарств с примесью палёного волоса и кислой металлической взвеси залез через ноздри в горло и остался там. Так для неё пахло отчаяние.

– Я выдержу, я выдержу, – твердила она, словно заговаривая зубное нытьё. – Выдержу, выдержу...

Мосс распрямылся, его крохотные культики не расцветших ещё рук превратились в крылья, и он поплыл куда-то, лёгкий и свободный, обретя вместе с нечаянно дарованной жизнью и какую-то аномальную память.

Железо ушло.

* * *

Доктор Логинов зажёл свет. Кабинет потонул в желтке электричества, и предметы чётко обрисовались. В этом помещении всё было продумано: и тяжёлые книжные шкафы с бордовыми корешками энциклопедий, и стопка научных журналов на толстоногом столике, и дипломы в лёгких рамках – с витиеватыми росчерками фиолетовых чернил и гербами, проступающими сквозь печатные латинские буквы. Особо выделялась большая фотография, висящая за креслом доктора, на которую неизменно падал взгляд посетителя. На ней – хозяин кабинета в мантии и квадратной шапочке с болтающейся кисточкой держит в руках что-то похожее на древний свиток, а вокруг стоят учёные мужи в таких же одеяниях, все улыбаются, жмурятся от солнца, на их толстых очках – щедрые капли бликов. Подписи под фотографией не было, но люди, имеющие отношение к медицинской науке, без труда узнавали и фасад Швейцар-

ской академии естественных наук на заднем плане, и саму церемонию награждения, и великих мэтров, имена которых известны всему миру, в особенности седого человека с тростью, держащего микрофон, – нобелевского лауреата, нейробиолога Пола Грингарда, великого и чудачьего, а чуть поодаль – тоже седого, не менее великого и не менее чудачьего гения психоаналитики Гельмута Фигдора. На всех без исключения визитёров эта фотография действовала безотказно: хотелось довериться доктору Логинову, довериться сразу и на любых его условиях.

... Пациент поднял голову с подголовника мягкого зелёного кресла, посмотрел на доктора как-то удивлённо.

– У меня, кажется, был брат-близнец...

Логинов задумчиво кивнул. Окончился шестой сеанс психоанализа, и результаты его были потрясающими, хотя до решения проблемы было ещё очень далеко.

– Вы что-то вспомнили?

Пациент пожал плечами, автоматически потянулся в карман за сигаретой, но, сообразив, что в кабинете доктора курить нельзя, опустил руку и снова закрыл глаза.

Логинов молчал. Этот Виктор Мосс – самый неординарный из его подопечных, самый талантливый. Сознание такого пациента есть сама бездна, и, приоткрой в неё дверь, кто знает, в какие тёмные коридоры она тебя самого может увести. Там уже нет науки, только шаманство, в которое Логинов не верил. Да, мозг человека изучен лишь на какие-то малые проценты, но это не повод реалисту поднимать лапки вверх и соглашаться, что есть некая необъяснимая сила, рулящая нами.

Да, много, много не изучено, а там, куда ещё не пришла наука, обязательно придут лженаука и мракобесие. У Марины, жены Логинова, нашлось бы объяснение всему, что происходит с Виктором, а вот у него – человека, у которого рейтинг цитирования в европейском психоанализе значителен, – у него объяснений нет. Брат-близнец? Генная память?

У Логинова были догадки на этот счёт, но наука их объяснить не могла. Сейчас он чувствовал, как невысказанная, необоснованная, сырая, как непропечённый пирог, теория, к которой он постоянно возвращался, давит на лобные кости, потрошит мозг, перекатывая в нём мысли, как жук-скарабей свои шары. В такие моменты у Логинова всегда просыпалась злость на самого себя: вот же, он совсем рядом с истиной, ходит на цыпочках по самому краю, а ступить на тонкий лёд не решается. Потому, наверное, и ненастоящий учёный. И полунастоящий врач.

– Вы хорошо себя чувствуете?

– Да, док, всё отлично.

Мосс – единственный из русских пациентов, кто называл его на американский манер – «док». Было в этом что-то пацанское, но Логинову даже нравилось. Когда Виктор, как сейчас, полулежал в кресле с закрытыми глазами, доктор вновь и вновь разглядывал его лицо, и это было не просто любопытство, а живой интерес медика.

Внешность Мосса была особенной. Не привлекательной, но и не уродливой. Вытянутые черты лица, выпуклый лоб, тонкий нос, бросающий голубоватую тень на бледные впалые щёки, чёрные, отливающие мазутом вьющиеся волосы. И руки, эти эльгрековские руки – с удлинёнными аскетичными ладонями, синими венами, шарнирными кругляшами костяшек на нереально длинных пальцах. Несомненно, персонаж другой эпохи – эпохи декаданса, зари немого кино и непонятной, мистической поэзии. Логинов не сомневался: у Мосса был врождённый синдром Марфана. Так в медицине называют людей с тонкими руками, острыми коленями, подвижными суставами, длинным лицом. Они обычно склонны к депрессии и имеют слабое зрение. Марфанистами были Линкольн, Паганини и Андерсен. Бунтарь ли, гений ли, живущий в этом худом, долговязом, сутулом теле, или дьявол – несомненно, Мосс обладал притягательной тайной, только вот знает ли он сам, что скрыто у него внутри?

Логинов готовился к встрече с каждым пациентом. К этому, шестому, сеансу с Виктором он проделал почти невозможное: раздобыл в архиве амбулаторную карту его матери – помятое, грубо склеенное подобие тетради тридцатилетней давности. Некий доктор Ефименко скрупулёзно вёл записи всех этапов беременности, чётким, несвойственным врачам почерком записывая результаты каждого осмотра и клинических анализов. На полях Ефименко делал пометки. Логинов вспомнил одну на латыни: нотабене, большая вероятность мертворождения.

О перенесённом аборте записи были скудные. Лишь холодное: «По настоянию пациентки оставили один плод». И далее на трёх страницах – убогое перечисление всех возможных патологий и перверсий. Просто учебник по акушерству!

Но как, как Мосс мог знать о брате-близнеце, если рассказать об этом ему никто не мог?

– Хоботок бабочки... – тихо произнёс Виктор.

– Что вы сказали? – Логинов вернулся из размышлений в реальность.

– Хоботок бабочки... – повторил Мосс. – Высосал моего брата, как нектар из цветка.

«Ну вот, мы почти у цели. У истоков», – подумал Логинов, быстро делая записи на планшете.

– Вы меня вылечите, док?

– Вы не больны. У вас есть просто некоторая особенность... Но давайте не будем торопиться. В следующий раз, когда вы придёте ко мне...

Виктор не дал ему договорить, вскочил, начал мерить кабинет длинными ногами-ножницами.

– Вы не понимаете, док, не понимаете! Мне страшно иногда возвращаться домой. Там могут быть они. Они повсюду. Если они появились один раз, они появятся снова! Я не могу жить в постоянном кошмаре!

Логинов поднёс ему стакан воды со слабым успокоительным. Мосс стоял у окна, и его фигура на фоне светло-серой римской шторы походила на силуэт дерева, вырезанного из тёмного картона.

– А вы, док? Вы? Вы сами боитесь чего-нибудь?

Логинов мельком взглянул на экран телефона, лежащего на столе. Сообщений от Марины не было. Да, он боится. Он, врач, за плечами которого свыше двадцати лет практики клинической психиатрии и десятилетний опыт работы с психоанализом в Европе, он, доктор медицины пражского Карлова университета, – он боится. Боится той самой единственной причины, по которой телефон жены молчит. Логинов машинально нажал кнопку вызова, но даже с отключённым динамиком было понятно – абонент не отвечает.

– Мы все чего-нибудь боимся, Виктор. Совсем не бояться – это тоже патология. До определённой степени нам нужны наши фобии, они срабатывают как защитный механизм, когда обостряется чувство самосохранения.

Он говорил эти фразы – пустой, в сущности, популизм – каждому пациенту, обратившемуся со схожей проблемой. Лекарств от фобий нет. Транквилизаторы, антидепрессанты – всё это лишь временное сглаживание проблемы. Если ты лизнёшь сосульку, конец её подтаёт, притупится, но сам лёд не растает. И где то пламя, что способно его растопить? Вот если бы знать наверняка, что человеческому организму надо просто добавить лития, или депакота с ламотриджином, или другие стабилизаторы настроения – и фобия испарится, улетит, как тонкая паутина... Но где гарантия, что паук – тот, который сидит в голове человека, – не сплетёт другую?

– Я бы хотел, Виктор, чтобы в следующий раз вы пришли вместе с супругой.

Мосс удивлённо взглянул на доктора.

– С Верой? Зачем она вам?

– Это важно для лечения.

Логинов выписал очередной рецепт. Средство сильное, но оно способно ненадолго отдалить страх, притупить чувства, обманув мозг. Человеку становится на какое-то время всё равно, а это именно то, что сейчас нужно, пока не найдены ответы и не подобран ключ. Бывшие коллеги по университету, многие из которых до сих пор считали Логинова шарлатаном от медицины, не преминули бы упрекнуть его в варварских, лженаучных, по их мнению, методах лечения, которые он использовал. Эти ханжи не понимают, что истинная наука – там, где ты ступаешь на узкую немощёную тропу, и даже если на этой тропе ты наступишь на истлевающий труп твоего предшественника, не дошедшего до цели, это не должно тебя останавливать. Открытие там, где не пахано. Там, где, кажется, только идиот может копошиться. Там, где традиционное учение отыграло заупокойную мессу. Если ты не пробуешь безнадёжное, не сомневаешься в очевидном – ты никогда не продвинешься в науке. Никогда. И таким, как Мосс, останется одно: жить в темноте, убивая печень лекарствами, и в конце концов отупеть, стать полным олигофреном, не способным самостоятельно даже сходить на судно. У них нет выбора: либо ежедневный кошмар, возведённый в степень необратимой истерии, когда парализует разум от нечеловеческого страха, либо жизнь растения – спокойная, вялая, в которой тебе никто не нужен, но и ты не нужен никому.

Логинов попрощался, пожав Моссу руку, что сделал за всё время их знакомства впервые. Его поразил холод узкой ладони, мертвенный, необычный даже для астеника.

– Всё хорошо, Виктор. Возвращайтесь домой. Там их нет. Вы и сами это знаете.

Мосс дёрнул плечом и застыл под взглядом доктора, замороженный, притихший.

– А если они вернутся?

Логинов улыбнулся:

– А если они вернутся, вы их убьёте.

Он подошёл к резной шкатулке из сандалового дерева, открыл её и вытащил небольшой футляр, обшитый потрескавшейся тёмно-синей кожей. После предыдущего сеанса с Виктором он точно знал, что именно потребуется, и объездил все антикварные лавки в Калининграде, пока не нашёл то, что искал.

Мосс осторожно открыл футляр. Там на потёртом голубом бархате лежала длинная булавка, по размеру напоминающая скорее небольшую вязальную спицу. Её головка была сделана из круглого стеклянного шара с мелкими пузырьками внутри. В самой глубине шара сидел паучок из тонкой витой проволоки, и его восемь лапок, закруглённых на концах петельками, казалось, вот-вот зашевелиятся. Спинку паука пересекал широкий бисерный крест – чёрный на белом фоне. По сути, это была шляпная булавка девятнадцатого или начала двадцатого века с единственным отличием от себе подобных: её конец был остро заточенным.

Мосс осторожно прикоснулся к стеклянному шару.

– Что это, док?

– Если хотя бы одна из них вернётся, приколите её этой булавкой к стене.

3

Тревога за Марину обрушилась на Логинова с новой силой, когда Мосс вышел, а он в очередной раз набрал номер жены. Длинные гудки... Тишина...

За дверью, в крошечной приёмной, должен ожидать следующий пациент. Логинов специально оборудовал помещение таким образом, чтобы приходящие к нему визитёры не пересекались друг с другом. Проблемы у всех деликатные, а среди пациентов есть люди публичные, и элементарная медицинская этика диктует сделать всё возможное, чтобы сохранить их инкогнито. Этика... Именно её нарушение когда-то ставили ему в упрёк бывшие коллеги по университету...

Дверь приоткрылась, и заглянула помощница Кира.

– Феликс Георгиевич, приглашать?

Логинов всё ещё смотрел на экран телефона.

Миниатюрная, с волосами цвета мокрой коры, чуть раскосыми русалочьими глазами и россыпью веснушек на белом лице – будто кто-то просыпал пшено в снег – улыбчивая Кира деликатно ждала его ответа.

Логинов тряхнул головой, прогоняя пасмурные мысли, и, не глядя на неё, ответил:

– Я сам.

Он прошёл в приёмную. Новый пациент – шумный, с арбузным животом, одетый всегда в рубашку-поло дорогой марки, с неизменной клюшкой для гольфа в руках – сидел, развалившись в кресле, нога на ногу, и смотрел спортивный канал на большом настенном экране. Гольфист – так про себя называл его Логинов, пометая в ежедневнике его визит латинской буквой G. Этот парень был помешан на гольфе, что в последнее десятилетие было не таким уж редким явлением. Особенно в кругу состоятельных людей. Если бы он просто оставался фанатом – пусть буйным, агрессивным, – в этом не было бы никакой патологии. Мало ли одержимых болельщиков – что ж, всех лечить? Но Гольфист стал воспринимать окружающий мир как большое поле для гольфа. Нет, он не был агрессивен, а скорее, капризен как ребёнок. Родственники мирились с этим его заскоком, считали прихотью, эдаким пунктиком – у каждого второго, если не первого, есть нечто похожее. Подумаешь, клюшку с собой таскает, разговаривает на непонятном спортивном сленге, выдалбливает лунки на дорогом паркете. Во время путешествий его жена заранее предупреждала портъё о «милой шалости» супруга, и оплаченные неудобства плюс щедрые чаевые мирили отельных служащих с прихотью постояльца. Ну, дырка в полу, и не такое бывало! Бизнесу и хорошей прибыли причуды Гольфиста не вредили – наоборот, его деловая хватка только усиливалась. Всё продолжалось до поры до времени, пока Гольфист не снёс клюшкой голову маленькой комнатной собачке, присевшей мирно сделать свои дела на выстриженной лужайке. Ошалевшей хозяйке удивлённый её криками Гольфист лишь сказал: «Это же был мой шестнадцатый мяч!» И тогда семья забила тревогу.

– Геннадий Андреевич?

Гольфист подскочил с кресла, заулыбался, прижимая к пузу блестящую клюшку, посмотрел на доктора детскими кругленькими глазками.

«Вот с таким же наивным чистым взглядом он в один прекрасный день проломит чью-нибудь башку, – подумал Логинов, – не исключено, что мою».

– Геннадий Андреевич, нам придётся отложить приём, примите мои самые искренние извинения. Возникло неотложное дело.

Гольфист надул полные губы, и Логинову показалось, что он сейчас заплачет.

Вошла Кира, взяла пациента под своё заботливое крыло, договорилась о другом времени, с трудом найдя окошко в плотном расписании доктора.

Логинов выскочил на улицу, на ходу накидывая пальто и не попадая в рукава. Март выдался мокрым, простуженным, с сильными ветрами и потоками талого снега, бегущего прямо под ноги. Одежда мгновенно впитывала влагу, как пористая губка, и казалось, что уже не отдаст её никогда: настолько сложно было за ночь всё просушить.

Логинов повернул ключ зажигания в автомобиле и рванул с места. Машина нервно вырлила с тихой калининградской улочки, задев бортик клумбы, и, въехав на шоссе, помчалась в сторону Светлогорска, затем, миновав сам город, в посёлок Отрадное.

Маленький чистый пригород, уютный летом и ранней осенью, тонул в серой дымчатой слюде – полупрозрачной, со взвесью водянистого бисера. Доехав до боковой дорожки, ведущей к воротам двухэтажного дома, он бросил машину, выскочил и побежал к калитке. Ветер с близкой Балтики забирался под воротник, развязывал шарф, свистел в уши: поторопись!

Тревога нарастала.

«А вы, док, вы боитесь чего-нибудь?» – влетел в голову недавний вопрос Виктора.

Какая жестокая, холодная ирония в том, что он – тот, кто много лет работает с тревогами других, – сам не в силах преодолеть их. Сапожник без сапог. Ни один страх не влезал в его душу так глубоко, как страх за жену. Как часто он говорил пациентам: «Не путайте страх и тревогу. Вы боитесь смерти, но тревожитесь за близких. Это разные вещи». Сейчас ему верилось, что его тревоги и страхи смешались в один змеиный клубок, протянули щупальца к его сердцу, опутали изнутри. Ни один из рецептов, проверенных и надёжных, с ним, медиком, не работал.

Зачем он накручивает себя? Ведь ничего плохого пока не произошло. Всё тихо в твоей голове. Всё тихо в твоей голове. Всё тихо в твоей голове.

Логинов надавил всей ладонью на кнопку звонка у двери, одновременно вытаскивая из кармана связку ключей. Тишина.

...Выдохнуть – и мысленно вылить на голову ушат холодной воды. Ничего плохого не произошло...

Всё тихо в твоей голове.

Замок щёлкнул, дверь тихонько скрипнула, отворившись.

Но уже в холле, погружённом в мягкий полумрак, Логинов понял: нет, он не ошибся. Марина дома. С Мариной снова беда.

Сработала сверхъестественная интуиция, которая никогда его не подводила. Жена иногда забывала взять с собой телефон, а то и вовсе его теряла, и волноваться не было особой причины. Но именно сегодня с утра по какому-то её полувзгляду, полувздоху на кухне, по неуловимым жестам, по наэлектризованному «не задерживайся долго, милый» и ещё по тысяче необъяснимых невесомых сигналов он почувствовал: близок кризис.

– Марина? Ты дома, Мышка?

Его голос пузырьчато булькнул в тишине. Никого. Но Логинов знал: она здесь. В доме два этажа и пристройка. И ещё гараж. Она спряталась. И надо было найти её.

* * *

Он бросил пальто на стоящее в холле кресло и, не снимая ботинок, прошёл на кухню, из кухни в гостиную. Никого.

Комнат в доме было шесть: две на первом этаже и четыре наверху. Логинов шёл по уже знакомому тревожному маршруту. Шторы на окнах были плотно задвинуты, хотя день ещё не угас, он рывком отодвигал их, впуская в комнаты жиденький белёсый свет.

Обыскав весь первый этаж, Логинов взлетел по лестнице на второй, одну за одной распахивая двери.

– Мышка, это я! Где ты, родная?

Никого.

Он снова спустился вниз, заглянул в гардеробную комнату, котельную, осмотрел стенные ниши, закрытые деревянными дверцами с вертикальными прорезями. Тревога нарастала с каждым новым пустым пространством, Логинов как будто бы за секунду знал о ждущей его пустоте: вот он касается ручки очередной двери, а картина уже отпечаталась чёрно-белым снимком где-то на доньшке сознания – там нет никого, нет никого, нет никого. Так ритмично ухало сердце.

Он остановился на секунду у гаража, и тут его словно озарило: платяной шкаф в гостевой комнате!

Пару мгновений, взлёт вверх по лестнице – и он у шкафа. Зеркальная дверца плотно закрыта, но Логинов каким-то собачьим чутьём почувствовал: Марина там.

Осторожно, чтобы не напугать её ещё больше, он открыл дверцу. Его изображение в зеркале дрогнуло и отплыло в сторону.

– Это я, Мышка, не бойся.

...Она сидела, забившись в самый угол, накрыв голову подушкой. Свет, ворвавшийся в темноту шкафа, потревоживший иллюзорную защищённость, заставил её приподнять от колёней испуганное заплаканное лицо.

– Феликс?.. – Марина сощурилась и закрылась от него рукой.

– Да, Мышка. Я здесь, всё хорошо.

– Ты так долго не приходил...

Логинов подхватил её на руки и, баюкая как ребёнка, понёс в спальню.

– Почему ты не позвонила мне, Мышка? Ты же обещала. Мы же договорились с тобой, помнишь? Как только ты почувствуешь что-то.

– Что? – она посмотрела на него с искренним непониманием.

Это был сигнал, что кризис позади. Почти позади.

– Что-то необычное, – осторожно продолжил Логинов. – Захочешь чего-нибудь очень сильно... То сразу наберёшь мой номер. Тревожная кнопка, помнишь, Мышка?

– Чего-нибудь сильно захочу? – медленно, нараспев произнесла Марина. – Я хочу чашку какао.

Логинов положил её на кровать, накрыл двумя одеялами, потому что её била дрожь, погладил по вьющимся медно-рыжим волосам. Потом принёс ампулы с успокоительным и противосудорожным, распаковал упаковку со шприцами. Пока лекарство бежало в тоненькую голубую вену, он заметил на запястье жены изящный золотой браслет в виде двух сплетённых змеек с рубиновыми глазами.

– Мышка, какой красивый... – Логинов не решился спросить напрямую.

Марина сонно повела глазами:

– Конечно, красивый! Как и всё, что ты мне подарил!

Логинов тяжело вздохнул. «Впрочем, – подумал он, – если она считает, что это мой подарок, значит, кризис и правда позади. Хоть одна хорошая новость».

– Я видела вчера, как ты что-то затачивал в гараже. Что-то мелкое. Гвоздь? – спросила Марина.

– Шляпная булавка. Это для пациента.

– Расскажи, пожалуйста, – ласково попросила она.

Логинов иногда обсуждал с ней необычные случаи из своей практики, не называя имён пациентов, и эта привычка вскоре стала некой семейной традицией, которая ещё более их двоих объединила. То, что Марина спросила об этом именно сейчас, говорило об одном: она

всё ещё осознаёт вину и хочет, чтобы он говорил о себе, а не задавал ей вопросы, на которые она не сможет ответить.

– У меня был один пациент сегодня. Очень интересный парень. У него лепидоптерофобия. Боязнь бабочек. Обсессивно-компульсивное расстройство. В общем-то, случай из учебников: навязчивые мысли, страхи... Только от сеанса к сеансу картина меняется. Не в худшую, но и не в лучшую сторону, а куда-то вбок. Я ещё не подобрал к нему ключ.

– Он боится бабочек? – медленно переспросила она, поднимая бровь.

– Да, панически. Но обычное лечение здесь не подойдёт. Это не простая психопатия, здесь что-то другое. Что... не могу пока понять.

Марина кивнула:

– Ну, если посмотреть бабочке в морду – это и правда кошмар. Она же страшная.

– Ты права, Мышка. Эти фасеточные глазищи, как у инопланетного гидроцефала, усики, хоботок. Прямо ужас, если разобраться. – Он улыбнулся и поцеловал её в висок.

– Я его понимаю.

– Но не будем об этом, а то ты у меня их тоже забоишься! – Логинов пощупал её пульс. Пятьдесят ударов.

Марина зевнула, подложив руку под подушку. Она явно теряла интерес к начатому разговору. Как и пульс, это тоже было признаком очередной стадии выхода из кризиса.

Он поправил одеяло на её плече.

– Я просила какао! – намеренно капризно, по-детски надула губу Марина.

– Сейчас, Мышка!

Он знал, что она заснёт раньше, чем он успеет достать турку, но всё равно спустился на кухню, вытащил упаковку какао и молоко, включил плиту.

* * *

Первый раз беда случилась с Мариной пять лет назад, спустя два года после их свадьбы. Ей было двадцать семь. Они только что приехали в Прагу, где Логинов получил практику при кафедре психиатрии медицинского факультета Карлова университета. Он пропадал до ночи в кабинете, вёл несколько интересных тем на факультете и, чтобы молодая жена не заскучала, выдал ей пачку купюр на обновления. Марина загорелась идеей: к девятому числу каждого месяца покупать или шить в ателье новое платье. Ведь девятого они познакомились – почему бы не устраивать маленькие праздники двенадцать раз в году?

– Я каждый месяц буду готовить тебе сюрприз! – Её глаза загорелись, она на время забыла о родном Петербурге и родителях, по которым скучала, о подругах и брошенной ради мужа работе флористом-декоратором на свадьбах.

Ей тяжело давались все их переезды. А это был третий с момента знакомства: до Праги они жили в Германии и Финляндии. С Мариной железной неспособностью к языкам – при абсолютном музыкальном слухе – завести новые знакомства было непросто, и Логинов немного переживал за жену, всегда жизнерадостную, общительную, а сейчас скучающую в одиночестве.

К очередному девятому числу она задумала сшить зелёное платье в пол, нашла неплохое ателье в Старом городе, где портниха знала русский, купила изумительную ткань. Когда платье было смётано и Марина съездила на первую примерку, Логинов заметил перемены в её всегда солнечном настроении.

– Что-то не ладится с платьем, Мышка?

Она не ответила, ушла на лоджию с журналом, закрыла за собой дверь.

Минут через десять раздался звонок на городской телефон. Логинов снял трубку.

– Господин Феликс, доброго вам дня и здоровья, не считите за дерзость... покорнейше прошу меня извинить... Нижайшая моя просьба, чётмядери...

Логинов не сразу понял, кто звонит. Когда сообразил, что это Маринина портниха, чуть не расхохотался в голос. Дама, похоже, изучала русский по классической литературе и эпистолярным прошениям царским чиновникам. Её высокопарный слог, припудренный сильным чешским акцентом, неуместное многословие и просительные интонации так контрастировали с внезапным «чёртмядери», как сорняк, проросшим сквозь частокол устаревшей речевой витиватости, что он никак не мог взять в толк, что, собственно, ей надо.

– Я, милейший господин Феликс, не дерзнула бы отвлекать занятого человека. Но дело чересчур важное. Ваша чудесная супруга не могла ли по случайности захватить часть платья с манекена?

– Пани Бронислава, боюсь, я не совсем понимаю, – нахмурился Логинов. – Часть платья с манекена?

Портниха таким же тяжёлым слогом объяснила, что из клиентов на примерке сегодня у неё была только «всемилейшая пани Марина» и неожиданно после её ухода закройщица обнаружила, что у манекена, стоящего у окна, вернее, с надетого на него красного платья из тафты пропал воротничок, расшитый стразами.

– Я, чёртмядери, не посмела бы умыслить... Но... может быть, случайно супруга ваша, выходя из ателье...

Логинову трудно было представить, как случайно, уходя из ателье, можно захватить «часть платья», особенно если оно прикреплено булавками к манекену. Он даже разозлился, но вежливым тоном заверил пани Брониславу, что она ошибается и что «всемилейшая пани Марина» никак не могла «случайно» что-то прихватить в ателье.

Он попрощался с портнихой, повесил трубку и вышел на лоджию.

– Представляешь, Мышка, твоя портниха спрашивает про какой-то воротничок со стразами...

Договорить он не успел. Её реакция была неожиданной и просто его ошеломила. Марина вскочила, заплакала, закричала, что он её ненавидит и ненавидел всегда, бросила книгу на пол, и ему стоило немалых усилий втащить жену в квартиру, чтобы не обрадовать соседей первым в истории их безоблачного супружества скандалом и не дать им «погреть уши».

– Ты что, думаешь, я воровка? Нет, ты думаешь, я воровка!!!

– Что ты, Мышка! Перестань, успокойся! Никто так не думает.

Она подбежала к стеллажу и начала одну за другой скидывать книги и безделушки.

– Нет, ты врешь мне, ты думаешь!

Он впервые столкнулся с такой её реакцией, и, несмотря на то что каждый второй его пациент был истериком и, как врач, он знал наперёд, что делать в подобных случаях, в собственном доме – уютном и тихом – к этому он оказался не готов.

Марину трудно было узнать. В подобной ситуации они вместе посмеялись бы над чудаконатой пани Брониславой да и забыли бы о казусе. Но сейчас глаза её изменились, стали даже другого цвета – холодные, дикие, крылья носа побагровели, губы дрожали.

– Мышка, всё хорошо. Иди ко мне!

Он подошёл обнять Марину, но она вырвалась с визгом, подбежала к стоящим в прихожей сумкам и вытряхнула на пол всё содержимое.

– Ты думаешь, я воровка!

Её будто зациклило на этой фразе, словно больше в её лексиконе и не было слов. Когда-то, ещё будучи студентом Санкт-Петербургской медицинской академии, Логинов вывел свою классификацию истерик. Та, что сейчас владела Мариной, с лингвистической блокировкой, неспособностью слышать чужие реплики, уродующая лицо замороженными надбровными дугами и округлёнными побелевшими верхними веками, – эта истерика значилась у него восьмым номером по десятибалльной шкале.

Он почти насильно заставил её выпить успокоительное, сильно жалея, что не завёл привычки держать ампулы и шприц в квартире. Когда Маринин голос затих и она сидела, всхлипывая, в кресле, обхватив колени цепкими худыми руками, Логинов нагнулся подобрать разбросанные на полу вещи из её сумок и вдруг заметил что-то красное и блестящее. Он уже знал, что именно.

Логинов молча навёл порядок и подошёл к жене, держа в руке нелепый воротничок со стразами.

– Ты не хочешь ничего мне рассказать?

Она смотрела на него испуганно, как провинившийся ребёнок. Логинов присел на корточки у кресла.

– Мышка, тебе он понравился, да? У тебя просто не было с собой наличных, чтобы заплатить, так ведь?

Она сидела не шевелясь, опустив глаза в пол.

– Ты вернулась за кошельком, правда? Или взяла эту штуку, чтобы примерить дома, у зеркала, потом вернуть, – подсказывал он ей.

Марина молчала.

– Ничего страшного, а ты так разволновалась. Надо было позвонить мне, я бы заехал после работы и заплатил.

«Ну кивни же!» – мысленно шептал он ей. Марина не реагировала.

– А пани Брониславу ты забыла предупредить, – уже не спрашивал, а утверждал Логинов. – Я позвоню ей сейчас, расскажу о недоразумении.

Пока он искал телефон портнихи, успел трезво поразмыслить над ситуацией. Марина – человек с тонким вкусом, лучший питерский флорист, всегда избегавший кричащих цветов в одежде и интерьере, – его изысканная Марина тайком сняла с манекена аляповатую безвкусицу. Он взглянул на воротничок: стекляшки, стразы, грубая вышивка на кайме... Поверить в то, что ей мог понравиться этот предмет, Логинов, знавший, как ему казалось, жену вдоль и поперёк, отказывался. Он мог купить ей ожерелье «Картье» или «Тиффани», а её прельстила откровенная дешёвка. Но не это его беспокоило. И даже не сам факт воровства. Люди иногда не осознают, что воруют, – просто «заимствуют», как, например, книги или зонты. Если друг взял без спросу том из твоей личной библиотеки и не вернул, почему-то это не считается кражей. Так же и с ателье. Подумаешь, ну проснулась в Марине внутренняя ворона, клюнувшая на блестящее, она примерила воротничок, потом прихватила с собой – потому что плохо лежал, никто не остановил. Да, это плохо, безнравственно... Но её реакция – вот что не давало Логинову покоя. Истерика, настойчивое отрицание случившегося говорили о большом чувстве вины, которое переживала Марина. Логинов понимал, насколько ей в этот момент было тяжело. Она совершила то, что сама возвела для себя в степень табу, и, нарушив установленные собственной моралью правила, испытала новую, незнакомую ей эмоцию. Возможно, эйфорию от содеянного, удовольствие, экстаз. Возможно, боль. Теперь это уже позади, и чувство вины – вот что оставалось в осадке всех перенесённых ею сегодняшних переживаний, и сила этого чувства очень насторожила, обеспокоила Логинова.

Пани Брониславе он сказал, что супруга решила примерить воротничок с новым платьем, потом отвлеклась на телефон, забыла предупредить... Он ещё что-то соврал, потом заехал в ателье и заплатил за безделицу несправедливо большие деньги.

– Компенсация морального ущерба, пани Бронислава. Простите мою забывчивую жену.

– Что вы, господин Феликс! Да я готова подарить его с искренностью и пламенностью сердца моего!

Логинов заверил, что это лишнее, и, выпив с портнихой для вежливости чашку чая, удалился.

Марина в ателье больше ни разу не приехала. Платье осталось недошитым, а Логинову пришлось ещё раз съездить к пани Брониславе – оплатить начатый портнихой труд.

Во второй раз всё повторилось через месяц. Теперь это были две чайные ложки, которые Марина спрятала в рукаве. Ложки принадлежали пожилой коллеге Логинова по университету – дородной красноносой пани Иве, к которой они были приглашены на именины. В отличие от портнихи пани Ива пропажи не обнаружила, но Логинов по нюансам изменения настроения жены понял: что-то не так. А возможно, как он потом сам себе признавался, и предвидел повторение случая с воротничком. Когда они вернулись домой, он спросил Марину напрямую, но на этот раз она не закатила истерику, а только сжалась в комок, закрылась от него руками, будто бы он собирался её ударить, и тихонько завывала, как щенок.

– Я случайно, понимаешь? Я не хотела, милый. Я ведь не воровка... Я не знаю, как это произошло, ты веришь мне? Давай всё вернём и забудем.

Логинов кивнул. Да, он верил. И знал: забыть не получится. Проблема, мучившая огромное количество людей в мире, пришла в его дом. И самое страшное, как врач, он понимал – избавиться от неё будет непросто. Если не невозможно.

Коллеги по университету, с которыми осторожно проконсультировался Логинов, были едины во мнении: kleptomания поддаётся лечению очень плохо. Были, конечно, случаи полного выздоровления, но чем больше он углублялся в изучение этой темы, тем больше убеждался: если больной ничего не крадёт, это не значит, что болезнь удалось купировать. Человек не совершает действие физически, но это не значит, что его не совершает мозг. Это он, мозг, с его нейронами, дендритами и аксонами, с его эфемерным механизмом хрустальных часов, отмеряет минуты благополучной жизни и проводит тонкую черту: вот здесь ты здоров, а вот здесь уже нет. И что происходит? Снижается выработка серотонина, появляются признаки маниакально-депрессивного психоза, и, если не дать выход пару, для больного это может закончиться суицидом.

Kлептоман не может не воровать. Ему необходимы эмоции на грани экстремальных, он абсолютно и необратимо зависим от них. До момента воровства он испытывает нечто сродни зуду внутри, и будто чья-то волевая рука подталкивает: иди и возьми, всё равно что. Это чувство иногда возникает спонтанно, когда взгляд больного падает на какую-нибудь вещь. Как вспышка, мгновенно рождается вождление, и сознание молниеносно настраивается только на одно: выждать момент и схватить, спрятать. И тогда наступит облегчение. После же приходит невероятное чувство вины, настолько сильное, полярное к только что испытанному во время кражи, что неизвестно, какое из состояний – до, во время или после – является наиболее тяжёлым. В случае с Мариной тяжелейшим было именно состояние после.

В течение последующих трёх месяцев она украла сумочку у зазевавшейся дамы в театре, штатив от фотоаппарата зеваки-туриста на Вацлавской площади, четыре шляпы из ресторанных гардеробов и мелочь с тарелочки туалетной консьержки в парке Стромовка. И каким-то невероятным образом пойманной за руку не была. Каждый раз после случившегося Логинов находил её в ужасающем состоянии и каждый раз боялся, что не успеет прийти ей на помощь. Она забивалась в угол, плакала, однажды даже расцарапала всю себя ногтями. Вина её перед самой собой была уродливой, огромной и, точно гигантский спрут, растекалась ядом по венам, отравляла кровь, превращала жизнь в ничто. Последующие недели Марина не выходила на улицу: ей казалось, что её сразу поймут. На это время Логинов брал отпуск или отгулы, раскидывал срочных пациентов по коллегам и неотрывно находился рядом с женой, не давая вине полностью раздавить её.

О том, что Марина заболела, Логинов не сообщал никому. Знал только профессор Станкевич, его старый научный куратор по клинической психиатрии. К нему в Петербург Марина поехала «на беседу» после десятого эпизода, который привёл её в полицию. Это был детский велосипед, который Марина случайно увидела в парке. Никого поблизости не было, а велосипед оказался таким красивым – малинового цвета с синими звёздами, – что сдержаться Марина не смогла. Позже в полицейском участке она объясняла, что просто хотела посмотреть, как он едет, потому что они с мужем планировали ребёнка, но её аргументы представителей закона не убедили.

Логинову стоило немалых трудов поднять все возможные связи, чтобы вытащить Марину из этой истории и избежать ненужной огласки. Да и денег стоило тоже немалых.

Станкевич долго беседовал с Мариной, согласился наблюдать её в течение года, определил классическую депрессию, но после нескольких сеансов психотерапии и курса пароксетина, который считал в ту пору за лучший антидепрессант, должен был признать, что лечение не продвигается: почти каждый раз из его кабинета немыслимым образом исчезал какой-нибудь предмет. Логинов, взявший длительный отпуск и сопровождавший Марину в поездке в Петербург, исправно возвращал всё профессору. Надежда оставалась на нейролингвистическое программирование и когнитивно-поведенческую терапию, одним из достоинств которых была замена негативного состояния Марины на позитивное и вывод из депрессии, провоцирующей клептоманию.

Пройдя такой курс в закрытой клинике «Ново Печте», Марина почувствовала некоторое облегчение. К тому времени Логинов приучил её обсуждать любое изменение настроения с ним, и несколько месяцев никаких воровских желаний Марина не испытывала. Они разговаривали утром перед его работой, вечером за ужином и несколько раз в течение дня по мобильному. Душевное состояние Марины оставалось стабильным. Но вскоре всё повторилось: однажды, вернувшись с работы и зайдя в ванную, он обнаружил, что за стенкой шкафчика торчит уголок рамки. Потянув за него, Логинов вытащил старую икону Святой Варвары в золотом окладе. Оставалось только догадываться, как она оказалась в его доме.

Марину он нашёл не сразу. Она забралась в бочку в саду и, когда он обнаружил её там, была уже без сознания. В больнице определили сильнейшее отравление, промыли желудок. Она пробыла в реанимации три дня, а когда её перевели в палату, написала ему СМС: «Прости меня».

Прощать было нечего, он понимал, что она больна и не виновата в этом. Только другие не понимали, даже коллеги. По университету поползли слухи, Логинов потерял несколько важных пациентов. «Врач, не способный справиться с недугом собственной жены, вряд ли сможет помочь другим». Так они рассуждали.

Когда Марина вернулась из больницы, он сделал ей подарок: коробочку, полную разноцветных бабочек. Она открыла её, и бабочки разлетелись по комнате. Это было волшебно, и Марина смеялась, как ребёнок, потом схватила его за руки, прижалась к нему и прошептала:

– Этого больше не повторится никогда. Слышишь, никогда!

Логинов очень хотел в это верить. Но медик, сидящий в нём, был скептиком. И этот медик оказался прав. Не прошло и недели, как Милош Бранек, декан кафедры психиатрии, пришедший к Логинову домой поговорить о делах, уходя, не обнаружил в своём кармане ключей от автомобиля.

– Потерял, наверное, возле дома, – мягко откашлявшись и многозначительно посмотрев на Логинова, сказал он. Бранек уже был в курсе проблем Марины.

Логинов благодарно кивнул и, оставив ненадолго гостя в комнате, обшарил все возможные тайники. Ключи были в Мариной косметичке.

– Вот же они, – деланно весело произнёс Логинов, протягивая Бранеку связку. – В прихожей валялись, на коврик.

– Да-да, спасибо. Это я, старый дурак, всё вечно роняю. – Он неуклюже раскланялся и вышел.

Они переехали в Ригу, где Логинову нашлось место в частной клинике. Он никогда не произносил «пришлось уехать», но дела обстояли именно так.

Маринино лечение проходило медленно и малорезультативно. Единственное, чего удалось добиться – не без помощи мощного гипноза у известного немецкого психиатра Марка Рильке, – это того, что она теперь при выходе из кризисного состояния напрочь забывала о содеянной краже. Это не перекрывало болезни кислород, но Марина хотя бы не мучилась больше суток. Она просто забывала о происшествии, как будто его и не было вовсе.

Однажды она обнаружила у себя на шее серебряную подвеску «Пандора» и никак не могла вспомнить, откуда она. Логинов убедил её, что это его подарок. Сам же объездил все места, которые она посетила накануне, пока не нашёл приятельницу – тучную розовую Элю, которой вещь принадлежала. Та обрадовалась, долго благодарила, сделала вид, что поверила, будто подвеска случайно оказалась на лестничной клетке, Марина прихватила её с собой, потом вспомнила, что видела такую же на Эле... Логинов научился виртуозно врать.

На обратном пути он зашёл в магазин «Пандора» и купил жене точно такую же подвеску.

Марина какое-то время их жизни в Риге была здоровой. «Условно здоровой», как говорил профессор Рильке. Логинов соглашался и считал, что если что-то и способно помочь Марине, то только лечение Рильке. Сам Логинов в медицинской практике много перенял у профессора, часто советовался с ним по поводу своих пациентов и каждый раз замечал, что, если в психиатрии и существует какой-нибудь метод от того или иного расстройства, этот метод известен Рильке.

Рижская жизнь была скучна. Они жили в пригороде, Марина большую часть времени проводила дома, читала, грустила, что в её состоянии было нежелательно. Наконец, однажды она сообщила, что хочет записаться в местный хор. Бирюзовые глаза горели энтузиазмом, и Логинов поначалу даже обрадовался этому. Какое-никакое хобби было бы ей полезно.

Он навестил руководителя хора и как бы невзначай, заранее прося прощения, предупредил, что может пропасть какая-нибудь безделушка, просил не поднимать шума по этому поводу. Хормейстер понимающе кивнул, но Марину ждал очень холодный приём. Однажды к ним в дом пришли двое полицейских и положили перед Логиновым листок бумаги. Это был список пропавших вещей – тридцать пять пунктов. Их разномастный ряд просто ошеломил Логинова: диапазон от золотой галстучной булавки до тромбона был просто карикатурен. Особенно потому, что он точно знал: ни одного «эпизода» за это время у Марины не было. Шельмахормейстер задумал списать на больного человека всё, что пропало за годы.

Обыск в их доме, позорный и по-латышски долгий, результатов не принёс, как Логинов и ожидал. Но с тех пор не проходило ни дня, чтобы Марина не просилась уехать подальше из этих мест. Словно в подтверждение тому, что оставаться больше нет возможности, она почти открыто похитила соседского кота – прямо из рук девочки, выгуливавшей его на тонкой шлейке.

Логинов предполагал, что тогда в ней говорила картавым языком не болезнь, а желание манипулировать им, но это уже было неважно: оставаться в Риге он и сам больше не хотел.

Пока Логинов искал новую практику и новое жильё, Марина приносила в дом добычу почти еженедельно. Профессор Рильке посоветовал скорее переехать, потому что навязчивая идея злого гения места, владевшая Мариной, только ухудшала её состояние.

Тогда и возникла идея переехать в Калининград, где их не знал никто. Хотя самого Логинова, конечно, знали – те, кто имел хоть какое-то отношение к психиатрии, не могли не читать его статьи. В узких, «своих», кругах помнили, что к Логинову когда-то обращались власть имущие, например, министр одной из дружественных славянских стран и олигарх одной из стран дальних и недружественных. А такое не забывается.

Они сняли дом на побережье, недалеко от Светлогорска, и чистый морской воздух, новые лица – приветливые и открытые, янтарные сосны и белый песок, казалось, никогда не вернут Марину в её персональный ад.

Болезнь молчала год, и Логинов начал думать, что она уснула. Не ушла совсем, нет, Рильке прав, она, как грибница в засушливое лето, просто спит до поры первого дождичка, которого может не быть годами. Но Логинов вопреки трезвому рассудку профессионала всё же надеялся, почти верил. До этого дня.

* * *

Он поднялся в спальню, долго смотрел на спящую жену, думал о том, что, несмотря на все новейшие методы лечения, болезнь всё-таки подступает, цепляется, запускает свои щупальца в организм, и даже если она затаилась, обманула – не верь, это лишь для того, чтобы собрать силы на новый удар. Болезнь коварна, хитра и, пока она не убита, всегда будет на шаг впереди тебя. Кто знает, какой окажется сила новой волны и что им предстоит пережить. Год передышки дал ему надежду на выздоровление, но сегодняшний день вновь отбросил их в точку, когда надо было всё начинать заново. А ведь в следующий раз он может не успеть примчаться так быстро. Что тогда будет с любимым человеком? Марина задохнётся, забравшись в какой-нибудь ящик? Если не от сознания совершённого преступления, то от элементарной нехватки воздуха? Или её загрызёт сторожевая псина, каких здесь полно, в миг, когда болезнь прикажет ей украсть стеклянный плафон над крыльцом чужого загородного дома? А может, подстрелит сам разгневанный хозяин, когда она войдёт в прихожую, чтобы взять безделушку? Но вероятней всего, на самом пике кризиса, который раз от раза становился всё коварнее, Марина не сможет справиться с неуёмным чувством вины. Оно, это чувство, сильнее её самой, и однажды Марина просто сведёт счёты с жизнью.

Вопросов было много. Ответ всего один: надо было срочно принимать меры.

Во-первых, как бы хорошо и комфортно им ни было в этом большом полупустом доме, необходимо познакомить Марину со всеми соседями в округе. Со всеми домовладельцами и по возможности с прислугой. Это даст шанс, что, когда кто-нибудь из них увидит её в своём саду, они не сразу бросятся вызывать полицию или спускать собак.

Во-вторых, надо продать Маринину машину. Тогда круг её перемещений ограничится Светлогорском.

В-третьих, очень важно найти надёжного человека, кому придётся доверить их тайну и на помощь которого можно рассчитывать. Это должен быть исключительно порядочный человек, каких нынче мало, а не просто помощник на зарплате. Он приходил бы днём, когда Логинов на работе, проводил бы время с Мариной... Только где такого найти? Здесь они изолированы, и изоляция эта была предпринята намеренно: очень хотелось забыть прошлые скандалы. За несколько месяцев, проведённых в Отрадном, Логиновы так ни с кем дружбы и не завязали, знали лишь ближайших соседей – слева и справа от дома, да и то старались свести общение к минимуму. Им хорошо было вдвоём, никто больше не нужен, и уединение пришлось так кстати. Но Маринина проблема диктует свои правила, и ничего не остаётся, как принять их. Только где, где найти помощника?

Логинов осторожно, чтобы не разбудить жену, снял браслет с её руки. В полоске света блеснули два змеиных рубиновых глаза. Красивая вещица. Яркая, злая.

Марина проспит до позднего вечера, а то и до утра. Есть время решить ещё одну важную проблему.

Он спустился в холл и набрал номер давнего знакомого, эстонца Райво Тамме, которого знал ещё по Праге. Выйдя на пенсию, Тамме, бывший полицейский, помотался по рыбалкам всех доступных значимых водоёмов Восточной Европы, а полгода назад перебрался в Россию и осел в Калининграде, открыв частное детективное агентство.

– Привет, Феликс. Снова та же незадача? – без предисловий начал Тамме.

Логинову нравилась его прямолинейность, немногословность. По своей натуре Тамме был молчуном, а его угрюмость, по молодости раздражавшая окружающих, с годами начала видеться Логинову бесценным человеческим качеством. Эстонец никогда не задавал лишних вопросов, не ковырял душу, не заглядывал сочувственно в глаза. Вот и сейчас Логинов был благодарен Тамме, что тот сразу перешёл к главному, а не начал расчёсывать старую рану. Да и не к месту в эту минуту было бы клоунское «Здорово, старик! Сколько лет, сколько зим!», расспросы про жизнь, про жену. Ответы ведь на ладони: жизнь так себе, с женой неладно, раз уж ты слышишь мой голос в трубке.

– Незадача... Можно и так сказать, Райво.

– Что-то серьёзное в этот раз?

– Браслет.

– Дорогой, как считаешь?

Логинов потрогал пальцем отточенные чешуйки на змейке.

– Думаю, да. Золото, рубины. Тяжёлый. Возможно, антиквариат.

– Ювелирка – дело серьёзное. – Тамме зашуршал листком бумаги, делая записи. – Добуду сводки краж, посмотрю, что можно сделать.

– Не сразу могут хватиться, – вздохнул Логинов.

– Известное дело. Но вернуть надо. Это не пепельница, как в прошлый раз. Я позволю кому надо. Мои люди проверят камеры наблюдения.

Тамме всегда говорил рублеными фразами, будто взвешивал каждое слово, а взвесив, подносил его на жестяном подносе. Лёгкий прибалтийский акцент совсем не придавал его речи тягучести, а лишь удлиннял паузы, внося особую весомость в сказанное. Поэтому обычно запоминалось всё, что он говорил.

– Мне нужен её сегодняшний маршрут. Километраж. Посмотри по одометру, перезвони мне. Потом одежда. Подробно. Если она была в шляпе – очень хорошо, на камерах сразу видно. И список всех знакомых, кого гипотетически можно навестить.

– Райво, я тебе так благодарен...

– Не за что пока. Собирай информацию.

Тамме сухо попрощался и нажал отбой.

Логинов прошёл в кабинет, включил настольную лампу, похожую на луковку крокуса, и в комнату влился тягучий медовый свет. Открыв ключом ящик письменного стола, который всегда был запёртым, он вытащил толстую тетрадь и сделал запись:

«Марина. Рецидив». Затем описал все детали, поставил число и день недели. И только закончив, обратил внимание на предыдущую запись, сделанную чуть больше года назад:

«Марина. Посещение галереи “Арсенал” в Риге. Жёлтый шёлковый платок “Гермес”. Вытащен во время фуршета из кармана плаща посетительницы. В тот же вечер возвращён хозяйке – Вере Мосс».

4

Виктор Мосс родился за месяц до срока, сизо-синим, с открытыми глазами, смотрящими в пустоту. Только веки у него были белыми и полупрозрачными, как у только что вылупившегося птенца. И ещё красный, цвета мяса рот, будто центровая точка мишени на большой голове. Пуповина дважды обмотала шею, оставив чёрные следы пиратским косым крестом – от уха до ключицы.

– Асфиксия, – вздохнув, устало сказала полная женщина-акушер, передавая новорождённого сестре. – Не жилец.

Мать дёрнулась на родильном кресле, захрипела, закашляла.

– Пру! – гаркнула на неё сестра, словно на кобылу. – Капельницу мне сорвёшь!

Младенца подняли за ножки, тряхнули, ударили по попе, чтобы заплакал. Заплакал – значит задышал. Крика сына мать не услышала.

Его поместили в стеклянный кокон, подключили к искусственной вентиляции лёгких. Врач разглядывала его, сумрачно качала седой головой.

– Надо же, – сказала сестра, посмотрев на кокон из-за её плеча, – головка вытянутая, как баклажанчик, виски вмятые, будто мы его щипцами тянули. А пальцы-то, пальцы! Точно скрюченные прутики!

Мать пробыла в реанимации три дня, потом ещё неделю в общей палате, душной и шумной от несмолкающего щебета соседок. Она, сорокалетняя, чувствовала себя чужеродной среди молодых рожениц, часами лежала, отвернувшись к стене, или мерила шагами километры в коридоре возле боксов, за дверью которых находились детки с трубками и в пластиковых намордниках, в большинстве своём обречённые. Иногда она прислонялась лбом к холодной крашеной стене и тихонечко выла, как зверица, у которой отняли детёныша.

На десятый день её выписали, но покидать роддом она наотрез отказалась:

– Не уйду отсюда без моего ребёночка!

Её лечащий врач сочувственно посмотрела на неё поверх толстых квадратных очков и молвила:

– Раиса Константиновна, не мучайте себя и нас. В перинатальном отделении делают всё возможное и невозможное. Езжайте домой. Вас есть кому встретить?

Встретить её было некому, да и дома не ждал никто.

– Без Витеньки не уйду! – упрямо повторила она, мотнув головой, и её отросшая неопрятная чёлка упала на бледное худое лицо. Не стриглась ведь, говорили, будто примета такая – беременным нельзя. Глупости, а верила вопреки разуму.

Остаться Раисе не разрешили. Выдали бездушный голубой больничный листок, записи в котором напоминали неровную предынфарктную кардиограмму – безжалостную, циничную, – и выпроводили из больницы почти насильно.

Она появилась на следующее утро, едва забрезжил рассвет, в том же байковом халате, вошла через приёмный покой – никто не остановил. Нянечки громыхали суднами и склянками в перевязочной, роженицы только просыпались и ждали, когда принесут детей на кормление. Раису не заметили. Как не замечали многие в её жизни. Она прошла, как полустёртая тень, по коридору к боксам и замерла в ожидании, когда кто-нибудь откроет дверь.

В детском реанимационном отделении стояла глухая тишина. «Все дети умерли», – мелькнула у неё мысль. Она толкнула дверь и вошла туда, куда вход был категорически запрещён. Стена боксов, разделённая на застеклённые секции, за которыми были коконы с ново-

рождёнными, показалась нескончаемо длинной. Там, в этих сотах, лежали маленькие беспомощные существа, и её Витенька тоже, и он, наверное, плачет, а мамы рядом нет!

Раиса металась от окна к окну, надеясь, что подскажет сердце, где он, но сердце предательски молчало.

– Почему посторонние в отделении? Женщина, как вы сюда попали? – взревел сиреной визгливый голос.

Раиса не отреагировала, продолжая биться мотыльком о стекло, и, как пыльцу, оставляла на нём силы и веру.

И вдруг он заплакал. Она знала – это он, её сынок. Раиса замерла на мгновение, прижалась к окну носом и губами и, вторя ему – нота в ноту, тоже заплакала.

Её ухватили за рукава, пытаясь насильно вывести из отделения, но она выпорхнула, как мелкая пичужка, оставив халат в руках медсестёр. Мятая ситцевая ночная рубашка, едва достигающая до колен, обтягивала невероятно худое тело и маленькие острые груди, болезненно набухшие от несцеженного, никому не нужного молока. Вызванный на помощь санитар схватил её, как тростинку, сложил пополам, положил на плечо и вынес из отделения.

В кабинете главврача горел яркий белый свет, будто в операционной, и пахло чем-то сладковато-горьким. Хозяин кабинета – маленький плешивый человек с умными, чуть раскосыми по-азиатски глазами – барабанил кончиками пальцев по пластмассовому очешнику и пытался поскорее закончить разговор.

– Не надо вам тут появляться, мамочка. Сказано же, позвоним, если что.

– Если что? – хлопала заплаканными глазами Раиса.

– Если всё. – Он смерил её тяжёлым взглядом. – То есть если какие-то новости. Улучшение или ухудшение. А посещать его незачем. НЕ-ЗА-ЧЕМ. Понятно вам? Идите домой, мамочка.

Раиса не шелохнулась. Оно было чужеродным, будто иностранным, пряно-сладким и заволаживающим – это слово «мамочка», пока ещё относящееся к ней. Пока ещё.

Видимо, врач думал о том же самом.

– Шансов, конечно, мало. Но бывают чудеса, бывают. – Он чуть было не добавил привычное «девонька моя», но вовремя осёкся: роженица показалась намного старше его самого.

Доктор краем глаза взглянул на лохматую медицинскую карту, которую ему принесла сестра. На заляпанном канцелярским клеем картонном титуле значилось: «Мосс Раиса Константиновна» и год рождения. Неприятный год рождения, некрасивый.

Она снова заплакала. Доктор налил ей что-то в мензурку, заставил выпить залпом. Спросил, ела ли она сегодня хоть что-нибудь, и, не дожидаясь ответа, вызвал нянечку и велел накормить тем, «что там осталось от завтрака».

Когда за Раисой закрылась дверь, он облегчённо вздохнул и скорее по многолетней привычке завершать начатое, чем из любопытства, атрофированного за годы работы в роддоме начисто, набрал номер дежурной сестры детского реанимационного отделения.

– Ринат Ибрагимович, доброго вам утра и хорошего спокойного дня! – раздалась бодря пионерская речёвка сестрички.

Он не узнал её по голосу, да и какая разница. Русские в одинаковых белых халатах, с крашеным жёлтым локоном, вылезавшим из-под шапочки, точно крылышко гигантского насекомого, зажатого сачком, – все они на одно лицо.

– Доложите, красавица, обстановочку.

Сестричка речитативом затянула долгую песнь по журналу, перечисляя неинтересные ему данные и называя фамилии и пол тех детей, кого переводили из реанимации.

Доктор прервал её:

– Что там с младенцем Раисы Мосс?

В трубке раздался шелест страниц и тяжёлый вздох. Когда он услышал: «Мы потеряли», автоматически поднёс карандаш к медкарте Раисы, чтобы сделать особую пометку в правом углу. Но сестра продолжила:

– Мы потеряли его показания за утро, такой переполох был с этой ворвавшейся сумасшедшей мамашей, а санитар Петя жутко неуклюжий, бумаги в кучу, а журнал наш, сами знаете, ещё со вчерашнего дня...

– Да скажи же наконец, – не выдержал Ринат Ибрагимович, чуть не выпалив «бестолковая» и переходя на «ты», – жив он там ещё?

– Ну да, – обиженно ответила сестричка. – Я же всегда на удачу юбилейный рубль в бюстик кладу. Чтобы в моё дежурство никто не помер.

* * *

Он не помер ни в это её дежурство, ни в следующее – через трое суток. Случай удивительный: за всю практику Рината Ибрагимовича и медперсонала районного калининградского роддома такого не случилось, ведь, помимо недоразвитых лёгких, у него имелся полный букет разных врождённых патологий – наглядное пособие для студентов и интернов. Маленький Мосс балансировал на грани жизни и смерти недели две после рождения и за время его пребывания в отделении детской реанимации превратился в легенду. Он проделывал невероятную работу, чтобы прожить ещё один день, всеми силами цепляясь за призрачное существование, смысл которого был понятен только ему одному. Мосс уже не был синим, но всё же землистый цвет его вытянутой мордочки внушал суеверный страх выдавшей многое пожилой нянечке, убиравшей отделение. Казалось, будто скорбь и боль этих серых дней ушли под кожу и остались там, лишь изредка, во время впрыскивания лекарств, подкрашиваясь жёлто-розовым румянцем.

На пятнадцатый день жизни Мосса дежурная сестра услышала его плач и, подойдя к стеклянному кокону, с удивлением обнаружила, что ребёнок порозовел. Он с жадностью, точно молоко, высасывал кислород из пластиковой маски-намордничка, помогая себе ручками, цепкими, как у детёныша примата, и сестре пришлось его туго спеленать.

Ещё недели три его держали на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Раиса ежедневно приходила в больницу, но медицинских комментариев врачей большей частью не понимала. Наконец Ринат Ибрагимович сжалился и нарисовал ей на обрывке тетрадного листка нечто похожее на бабочку.

– Надо, чтобы лёгкие раскрылись вот так. Как крылышки. Для этого мы и...

Дальше снова шли незнакомые ей слова. Поняв, что могла, она, как молитву, твердила: «Раскройся, мотылёк мой, Витенька» – и мысленно целовала сына в невидимые крылышки.

В блаженный день выписки проводить их пришли все свободные врачи и медсёстры. Раису встретила на такси соседка Галина – большая носатая женщина в цветастом брючном костюме, с чёрненьким пейджером на поясном ремне. Пейджер непрестанно издавал неприятные звуки, и Мосс, которому в этот день исполнилось полтора месяца, каждый раз по-своему реагировал на его дребезжание.

– Пчёлка жужжит, да, мой родненький? – наклонялась к нему Раиса, пытаясь поймать его взгляд.

Сын беспокойно крутил головкой, капризничал и вдруг застыл, будто кто-то в нём выключил звук и вытащил батарейку: пока такси стояло на светофоре, ожидая зелёного сигнала, в кабину влетела маленькая бабочка-капустница. Она пометалась, пачкая пылью матерчатый потолок автомобиля, и села на платье Галины – на красный мак, растянутый во всю

ширь её необъятной груди. Мосс заворожённо глядел на бабочку, и Раиса затаила дыхание: настолько зрелище осмысленного взгляда сына дарило ей невозможное, невыразимое счастье.

Но ничего не подозревавшая Галина, не отрываясь от чтения пейджера, огромной лапшей шмякнула по бюсту, прихлопнув бабочку, как комара, и что-то взорвалось в Моссе. Его организм очнулся, приводя в движение руки-ноги, точно рычаги и поршни, он выгнул спину и заорал с такой силой, что даже водитель вздрогнул.

Раиса, как ни старалась, успокоить его не могла.

Дёма, когда его развернули, обе женщины с удивлением обнаружили, что Витенька порвал на тряпочки простыню, в которую был завернут, расцарапав себе пальцы до крови.

– Ничего себе истерика у пацана была! – присвистнула Галина.

Раиса ничего не ответила, быстро разогрела молочную смесь в бутылочке, скормила сыну всё сразу, и он проспал исполинским сном, не шевелясь и не требуя к себе внимания, до самого вечера.

Галина выпила «за новую жизнь» водки, чокнувшись с Раисой шкаликом о её чашку слабого чая, и на прощание, глянув на спящего младенца, басовито молвила:

– Мордоличико какое у него серьёзное! Кажется, забирали из роддома одного, а принесли повзрослевшего как будто. Ой, Райка, смотри, гены-то, гены отцовские как бы не аукнулись!

Раиса вздохнула и, закрыв за ней дверь, просидела у кровати сына несколько часов кряду, беспокойно вглядываясь в какие-то нездешние, тревожные, эльфийские черты его лица и глядя длинные тонкие пальчики.

* * *

Отец Виктора – Александр Мосс – был художником от Бога. Он мог с закрытыми глазами нарисовать фотографически точный портрет человека, проведя пальцами по лицу, как делают слепые. Друзья часто просили его на потеху показать аттракцион: завязывали ему глаза и подводили к столу, где были разложены предметы, стояла ваза с цветами и сидели незнакомые ему люди. Александр минуты две ощупывал всё и всех, его внимательные пальцы не упускали ни единой детали, сканируя каждую грань и выступ, малейшую трещинку и впадинку, и в результате на бумаге появлялся рисунок, от которого все присутствующие замирали. Это было не иначе как шаманство, потому что Александр умудрялся угадывать не только форму и фактуру, но и цвет и нюансы освещения в комнате. Скептики полагали, что он подглядывает, но это не было лукавством, а лишь долгой тренировкой, помноженной на чистый талант высочайшей пробы.

Поэтому, когда Александр ослеп – сначала частично, потом полностью, работы он не лишился. Рисовать зайчиков, пингвинов и принцесс с его одарённостью было, в общем-то, непростительным кощунством, но, словно предвидя свою слепоту, он намеренно выбрал работу иллюстратора детских книг: даже в хлопотные малобюджетные годы заказы поступали без перебоя.

Свою слепоту Александр угадал лет за пять до появления первых её признаков. Это была редкая болезнь глаз с названием, которое он сам изобразил в виде длинной фиолетовой гусеницы с шипами на голове – так фонетически оно звучало.

Раиса в его жизни возникла в конце шестидесятых – тогда, когда зрение начало стремительно уходить. Её к Александру привёл старый приятель, с которым они случайно оказались попутчиками в поезде. Молоденькая секретарь-стенографистка без высшего образования, по какой-то неведомой планиде ехавшая в Калининград из Пятигорска долгими окольными путями искать работу, с благодарностью приняла предложение стать помощницей в доме

художника. Одно осознание того, что она будет работать у человека искусства, приводило её в языческий трепет.

На пороге его большой четырёхкомнатной квартиры-мастерской в старинном районе Амалиенау она появилась с обтрёпанным родительским фибровым чемоданчиком, ватрушкой в руках и непуганым счастьем в сердце.

В свои сорок пять Александр был невероятно хорош собой – высокий, темноволосый, широкоплечий. Прусские корни говорили сами за себя. Тонкая голубая жилка на длинной шее, острая пирамидка кадыка, породистый тонкий нос с горбинкой у самых бровей, птичий взгляд светло-серых глаз – все эти Альбрехты Гогенцоллерны и Фридрихи Бранденбургские, лёгким генным дуновением вместились в нём одним, делали его образ ледянисто-таинственным и в то же время манящим своей непохожестью, нестандартностью, притягательным магнетизмом. Он гордился тем, что его предки жили, не покидая этих мест, ещё со времён расцвета Кёнигсберга, хотя и к слову и не к слову поминал, что все поголовно были из плебеев – каретники, шорники и кожевенники. Может, поэтому пролетарская биография и позволила его давно почившему отцу продвинуться по партийной линии при советской власти. А он вот, как отрезанный ломоть, пошёл в «малеры», рисует картиночки, собирает вокруг себя кухонную фронду из умеренно-вялых диссидентов и живёт как хочет.

Раиса помогала по дому, общалась с издательствами, отвозила рисунки и забирала по доверенности гонорары, в ту пору позволявшие жить безбедно. Обитала она в той же квартире, в одной из комнат, заваленных старыми плакатами и ватманами с ненужными этюдами, выкинуть которые у неё не поднималась рука.

Любовниками они стали не сразу, а спустя лет пять – для Александра по разгульному куражу, для Раисы по огромной девичьей мечте, которая, как ей казалось, была для него тайной. Толпы поклонников не осаждали Раису никогда, и её наниматель оказался первым и единственным мужчиной в жизни. О чём он по пьяни даже не догадался.

Раиса была незаметна в квартире, тиха и легка, Александр привык к её неслышным шагам и тихому голосу, и многочисленные его гости тоже не замечали её присутствия. Ходит бесцветная мышка, а и пусть, не так болит душа, когда они оставляют полуслепоего Александра одного с горой бутылок и консервной банкой, полной окурков. Девчонка-приживалка уберёт-вымоет, накормит-опохмелит. И как-то всё само убиралось, отмывалось, а хозяин квартиры получал еду и своевременный рассол. Лишь когда она выходила из дома по делам, Александру становилось неуютно, он сразу натёкался на стулья, которые раньше легко обходил, или замерзал от сквозняка, или не мог нащупать на положенном месте карандаши и ластик. Когда же она возвращалась, всё почему-то сразу становилось на свои места: рука безошибочно брала нужную вещь, а нога ступала выверенно и точно по скрипучим половицам коридора и комнат.

«Любовь», как называла их близость Раиса, происходила редко – раз в два или три месяца. Она безошибочно угадывала, когда Александру было особенно одиноко, тихо проскользнула к нему в спальню, молча садилась на кушетку. Он проводил рукой по её прямой спине, щупал пальцами бусинки позвоночника, живот и подвздошные кости, выпирающие бугорками на худеньком теле, и непременно говорил, что в её плоти есть что-то скифское. Она смеялась, наливаясь тусклым румянцем, едва различимым на всегда бледном лице, и тыкалась лбом в его плечо, как собака. И тогда он брал её – жадно и грубо, оставляя синие следы от пальцев на груди и рёбрах. А когда всё заканчивалось, просил принести ему водки и велел уходить с глаз долой. И сам же смеялся нелепости собственной шутки. Всё, что касалось глаз, теперь для всех было запретной темой.

К нему ещё продолжали ходить разномастные девицы из богемы, и часто Раиса слышала, как они возились в его спальне, повизгивая по-свинячьи и постанывая, чего она сама никогда

себе не позволяла. Но простого житейского бабьего чутья ей не хватало, чтобы подсказать, как отвадить девиц, пока, наконец, на седьмой год её проживания с Александром к ней не заявились две сумрачные одинаковые тётки «откуда надо» и не пригрозили выселением, потому что прописки у неё не было. Раиса оторопело стояла с ними в прихожей, что-то бормоча и пытаясь забрать назад свой паспорт из их лапищ, когда хозяин вышел к ним при полном параде – в китайском бордовом халате с жёлтым драконом на спине, турецкой шапочке с кистью и с длинной курительной трубкой в зубах. Хмурые тётки набросились на него с обвинениями, но он королевским жестом руки остановил их на полуслове и молвил:

– Шли бы вы, бабашечки, к ангедридной матери. Жена это моя, Райка Мосс. Штамп вам нужен? Будет штамп. Завтра же.

И, не спрашивая мнения Раисы, на следующий день по большому знакомству вызвал расфуфыренную богатогрудую даму с булкой на голове и лентой через плечо, и та расписала их прямо на кухне, не преминув затянуть проповедь о рождении новой ячейки советского общества. Александр тем же царственным жестом – как дирижёр, цапающий последний оркестровый аккорд в кулак, точно муху, – прервал её пламенную речь и кивком головы дал понять, что концерт окончен. Подписи свидетелей в её бумажках уже стояли.

С тех пор девицы в дом не приходили, но «всплыли» пятеро несовершеннолетних детей Александра, рождённых в разное время, в разных городах и от разных женщин. Эти женщины, прослышав о его женитьбе, начали названивать, требуя части гарантированного наследства. Когда Раиса снимала трубку, их голоса сливались в одно многоголосье, требовательное и злое в телефонном вакууме. Александр заявил ей, что со своим бабьём разберётся сам, а её задача – не совать нос, куда не нужно.

В остальном их жизнь не изменилась.

Вскоре Александр ослеп полностью. Как ни парадоксально, он продолжал работать карандашом и кистью, не отказываясь ни от одного заказа. Это были всё те же книжные иллюстрации, а в конце восьмидесятых появились комиксы, интерес к которым как к чему-то западному, почти запретному рос с невероятной быстротой. Как правило, от художника не требовалось создавать новый образ, а только продолжать уже известную серию. Раиса получала в издательстве распечатку с изображением героев – суперменов, детективов, красоток и монстров, делала ксерокопию на почте, затем разводила на кухне желатин напополам с клеем «Момент» и аккуратно тонкой кистью прорисовывала лица и фигуры по контуру. Когда смесь застывала, Александр прикасался к рисунку подушечками пальцев, запоминая форму выпуклостей, а Раиса рассказывала ему про цвета на картинке и читала сюжет, по которому следовало работать. Ему этого хватало, чтобы создавать великолепные комиксы – такие, что в издательстве так и не узнали о том, что зрение ушло от него полностью.

Коллеги по цеху завидовали Александру, к которому переходили самые интересные и денежные заказы, а он ощущал их ненависть кожей, на расстоянии, всё чаще прикладывался к водке и становился невыносимым. Из друзей остались только стойкие собутыльники из помятых диссидентов и одна стареющая полусумасшедшая поэтесса в вечной розовой шляпке и с завитыми буклями на пудренных скулах.

Александр почти перестал прикасаться к Раисе, но она чувствовала: мужская сила ещё не покинула его насовсем, поэтому начала думать, что он за что-то её наказывает. Она изводила себя догадками, каждый день придумывая повод для самобичевания. Однако же ей хватало ума не признаваться ему в этом.

Однажды поэтесса сказала:

– Ты, Рай, надоела ему, как вот эти вот ваши скучные замызганные обои в ромбиках.

И она клюнула длинным носом воздух в сторону стены. Раиса ощутила горький привкус во рту.

– Но ведь он же их не видит...

– И тебя не видит, – продолжала поэтесса. – Ты для него тоже в ромбик.

– Но я же не виновата. Что мне делать? – поёжилась Раиса, не зная, как избавиться от неприятного разговора.

Поэтесса театрально закатила глаза и, прочитав четверостишие собственного сочинения, из которого Раиса поняла только про образ чего-то пролитого на что-то ускользящее, приблизилась к ней напудренное лицо и прогнусавила:

– Ну, сделай что-нибудь! Встань хотя бы на подоконник и завизжи, как опоросая свинья. И он тебя заметит, милая.

Раиса подумала, что поэтесса сумасшедшая, но слова её так плотно засели в голове и потеснили все остальные мысли, что спустя пару дней она последовала безумному совету.

Александр вбежал в комнату на её истошный визг и безошибочно определил, что она стоит на подоконнике.

– Ну, Райка, чего же ты? Сигай вниз!

Она прекратила визжать и закашляла.

– Ну же! Сделай что-нибудь стоящее в этой жизни!

Александр подошёл к ней, и на секунду Раисе показалось, что он сейчас столкнёт её.

– Давай, Райка! Это так классно! Низковато, но для тебя в самый раз. Почувствуешь красоту полёта! Раз в жизни!

Раиса была поражена, как изменилось его лицо – стало злым, серым, с синими тенями заломов у носогубки и тонкой линией бледных губ. Он поднял руку – вероятно, для того, чтобы помочь ей спуститься, – но она отшатнулась и в ужасе ощутила, как теряет равновесие. Нога уже ступила на карниз, и железо отозвалось глухим скрипом, прогнулось. Тапок полетел на асфальт. Она едва сохранила равновесие, ухватившись обеими руками за оконную раму. Сердце замерло, и жар полыхнул где-то у горла.

– Райка! – заорал Александр и свесился с подоконника, будто мог увидеть что-то на тротуаре.

Раиса посмотрела вниз, на мокрые лужи, отражавшие серое в крапину облаков небо, потом вверх – туда, где стайка голубей стелилась рваным кружевом над бирюзовой крышей церкви Луизы, и ощутила себя маленькой, никому на этом свете не нужной, забытой. Скажи сейчас её муж что-то грубое, она не поручилась бы, что смогла бы удержаться и не упасть.

Рама чуть скрипнула, ржавая петля выплюнула гвоздь, и тот с лихим звяком полетел на тротуар, целуя по пути водосточную трубу. Александр медленно повернулся к Раисе.

– Иди ко мне, дурочка. Не бойся!

Он снял её с карниза, поставил рядом с собой и со всей силы, наотмашь ударил по лицу.

– Никогда больше не делай так, поняла?

Раиса завывала, опустилась на пол у его ног, потирая ушибленную щеку. Александр постоял немного над ней и ушёл к себе.

Когда он вернулся в комнату через полчаса, она всё ещё сидела на полу и всхлипывала. Он молча поднял её, на руках отнёс в спальню. Потом долго мучил её грубыми ласками, но не попросил прощения и так и не удосужился спросить, зачем она залезла на подоконник. Раиса хотела было отказать ему в близости, но его объятия были такими редкими в последние годы, а она, как малый домашний зверёк, так сильно нуждалась в тепле, что закусила губу, проглотила обиду и позволила ему сделать с ней всё, что он хотел.

Наутро она проснулась на его кровати от того, что он трогает холодными пальцами её лицо. Ещё балансируя на грани сна и реальности, она приняла его руку за паутину и закричала. Он закрыл ей ладонью горло.

– Тише. Ты, Райка, и правда странная какая-то!

Она увидела, что Александр сидит голый на краешке постели и держит на коленях ватман, прикнопленный к доске, за которой он обычно работал. Рядом лежала россыпь карандашей.

– Сядь и не дёргайся.

Он нащупал заточенный карандаш, ловко покрутил его между пальцами и поставил точку на бумаге – чуть сдвинутую от центра влево и вверх: так обычно начинался рисунок. Его пальцы коснулись лица Раисы – сначала лба, потом пробежали вниз по щеке, погладили нос, остановились на её маленьком подбородке. Она улыбнулась уголками губ. Александр, такой талантливый, такой любимый – её великолепный Александр был в эти минуты для неё божеством. То, как уверенно его рука проводила линию на ватмане, как он всегда безошибочно чувствовал форму, ставя нужный штрих в нужном месте, а не отмеряя пальцами отрезки на рисунке, как делали его приятели-художники, на забаву завязав глаза и пытаясь повторить его мастерство, как изменялось дыхание Александра при работе над портретом, – всё это было для Раисы непостижимым, нереальным, замешанным на каком-то тёмном ведьмином зелье гениальности напополам с благословенной божьей слюной. В такие минуты бесконечного восхищения Раиса с горечью осознавала, насколько далека она от него, насколько неинтересна и обыденна, и это просто чудо, что он столько лет позволяет ей быть рядом и не гонит прочь.

И была ему за это бесконечно благодарна.

Раиса взглянула краем глаза на собственный портрет, висящий на стене. Он был сделан сангиной на пропитанной чаем бумаге, имитирующей старый пожелтевший лист. С этого портрета двухлетней давности, когда Александр уже окончательно ослеп, смотрела весёлая девушка, полная молодости и лёгкости. С удивительной точностью были схвачены и её настроение, и полуулыбка, и блеск любопытных глаз. Да, такой она, девочка Рая, была совсем недавно, и такой, вероятно, хотел её видеть муж.

– Всё. Закончил, – выдохнул Александр и повернул к ней рисунок.

Раиса обомлела. Затихла. И вздохом чуть не выдала своего удивления.

Все её портреты, сделанные в предыдущие годы, были почти фотографически точны. Даже родинка у самого уха – и ту Александр всегда рисовал верно, будто опытный картограф обозначал маленький, затерянный в океане остров с абсолютной точностью координат. Сейчас же с портрета смотрело незнакомое лицо, без родинки, без характерных ямочек на щеках. Подбородок был узким и длинным, а не маленьким, как на самом деле, глаза близко посажены к носу, а взгляд казался холодным и пустым.

Это, несомненно, было чьё-то лицо, но не её. Лишь в форме лба и причёске угадывалось что-то узнаваемое. Но не родное.

Он, её Александр, просто позабыл, как она выглядит. Ведь один из его талантов состоял в том, что он мог воспроизвести по памяти любого, кого видел пять, десять, пятнадцать лет назад. Если помнил его.

«Может быть, я состарилась? А он не знает, как я старею?» – промелькнула у Раисы мысль.

Но пальцы! Пальцы! Как они могли обмануть, ведь они и есть его глаза? Неужели он потерял свой дар – ту необъяснимую связь между миром, который нащупывают пальцы, и возможностью точно передать его на бумаге?

– Чего молчишь? – спросил Александр.

Она не решалась сказать ему правду.

– Тебе не нравится? – настаивал он.

– Нет, милый, нравится. Просто я на портрете... какая-то грустная.

– Мы это исправим. – Он перевернул лист на другую сторону и поставил на нём точку. Затем потянулся к лицу Раисы. Она чуть отклонилась в сторону.

– Постой. Зачем ты трогаешь меня? Ты же всегда писал меня по памяти?

Александр промолчал, потом засмеялся:

– Верно. Я нарисую по памяти.

Она осторожно взглянула, как его рука скользит карандашом по ватману. На портрете штрих за штрихом медленно проявлялось лицо – другое, не такое, как на первом. Но вновь не её.

Его невидящие глаза смотрели сквозь Раису, словно её и не было в комнате. «Меня нет для него, – снова подумала она. – Он позабыл меня. Позабыл».

– Я пририсовал тебе улыбку, – сказал Александр, ставя портрет на стул возле кровати. – Ну что, теперь ты не грустная?

С ватмана смотрело чужое улыбающееся лицо.

– Да, Сашенька, теперь всё в порядке.

Но на следующий день пришли гости, и всё та же стерва-поэтесса лукаво спросила:

– А кто это на портрете? Новенькая?

Александр помрачнел.

А вечером снова ударил Раису. За ложь.

Она долго плакала, потом убедилась, что виновата сама. И простила его.

С тех пор всё в их жизни пошло по-другому. На смену лёгкости божественного дара пришёл страх.

Поначалу страх был маленьким пугливым зверьком. Он поселился в голове Александра, свил там норку и лишь изредка показывался наружу. Но через год страх окреп, набрался сил, выпрямился в полный рост и превратился в монстра, влив в вены кипящую желчь вместо крови, съев мозг.

Сперва Александр боялся, что рисунок не выйдет таким же талантливым, как все уже созданные им. Наступал хлопотный закат перестройки, Советский Союз ещё был жив, но рыночные отношения нового фасона уже существовали в открытую. За заказы в издательстве нужно было бороться. В какой-то момент редактор заявил ему по телефону, что, если он ещё раз сдаст такую же халтуру, больше работы не получит. Александр начал бояться чистого листа. Тогда Раиса подходила к нему, брала его руку в свою и ставила на листе точку. И он мог двигаться дальше. Рисунок рождался медленно, тяжело, как неумелая молитва, слова которой не выучил, а только знаешь примерный их смысл. А итог получался совершенно не таким, какой жил в голове художника. Создавая картинки к уже готовым сюжетам, что он делал сотни раз, Александр всё чаще ошибался, а у Раисы сжималось сердце при виде корявых персонажей с руками разной длины и носами, сдвинутыми на лоб или ухо.

Она не решалась ему об этом сказать, но «добрые люди» сделали это за неё.

Раиса устроилась работать фасовщицей в магазин, ведь надо было на что-то жить. Однажды, вернувшись с работы, она застала мужа дрожащим и плачущим под одеялом. Александр не сразу узнал её, потом сказал, что кисти – это длинные высушенные черви, которые, если прикоснуться к ним, тут же вопьются в руку, как пиявки, заползут под кожу и поплывут по артерии к сердцу. Поэтому надо все их немедленно сжечь. Он говорил так искренне, что у Раисы заныло сердце от жалости к мужу.

Кисти были убраны на антресоли, но Александр, проснувшись однажды ночью, каким-то волчьим чутьём почувствовал, что они там, и заплакал от страха. Раисе пришлось достать и выбросить их. Только тогда он успокоился.

Затем появилась боязнь посторонних звуков. Слух у Александра, и без того чуткий, как у всех незрячих, в последние месяцы обострился настолько, что он слышал, как пролетает муха в одной из комнат или колышется от сквозняка бахромы на шторах.

Старый, испуганный, жалкий, он забивался в угол, накрываясь рисунками, пустыми ватманами, старыми газетами, и Раисе стоило немалого труда убедить его, что никакой опасности нет.

Затем очередь дошла до Раисиних сковородок, потому что Александр вдруг понял: это никакие не сковородки, а радиолокаторы, установленные в его квартире вражеской разведкой. Он прокрался в кухню, нащупал их в кухонном стеллаже и выбросил в форточку, чудом не попав никому по голове.

К врачу идти он категорически отказывался. Раиса не знала, что делать. Помогли приятели из издательской среды, пригласили к ним в дом специалиста по психиатрии под видом заезжего ленинградского художника. Александр подвоха не уличил, раскрыл свои честные мысли обо всём, что подложено в его дом с целью его умертвить. Специалист вежливо кивал, хоть и знал, что хозяин его не видит.

Два дня спустя за Александром приехали. Он не понимал, куда его ведут и зачем, но ласковые слова врача о том, что в пансионате он отдохнёт и снова начнёт вдохновенно писать картины, возымели действие, и Александр согласился.

В закрытом областном санатории специального назначения ему сразу поставили диагноз «паранойя» и настолько нашпиговали лекарствами, что, вернувшись домой, он не помнил, прошёл ли месяц или два, но был ласков с Раисой и пообещал не пить.

Полгода всё было нормально. Александр даже начал рисовать. Картины были абстрактными, с насекомыми, в основном бабочками, но сделанные твёрдой профессиональной рукой. «По памяти, – как пояснил однажды Александр. – Из воспоминаний о санатории». Раиса, мучимая совестью, что поместила мужа в психушку, так и не решилась спросить, откуда такие образы и почему вдруг бабочки...

А спустя месяц она проснулась от какого-то дуновения, посмотрела на потолок, где дрожали ночные фонарные тени, и закричала от ужаса: на неё сверху летели огромные бабочки, а потолок падал – и самое страшное было не в том, что он упадёт и раздавит её, а в том, что сначала на лицо сядут бабочки, а потом их придавит эта гигантская белая плита.

Она в ужасе села на кровати, тряхнула головой, чтобы прогнать сон, но видение не исчезло. И только спустя пару мгновений она поняла, что бабочки – просто отражения от фонарного света.

Александр тоже сел на кровати, молча провёл рукой по её спине, как делал всегда перед близостью, потом схватил её за волосы, откинул назад и с силой взял, забирая в ладонь её сдавленный крик.

Когда всё закончилось, он устало отвалился на подушку и засмеялся:

– Давненько я не брал тебя, Райка. Год или два? Ты уж думала, что я совсем старик?

Она встала с кровати. Он был ненавистен ей в эту минуту, может быть, впервые в жизни – ей даже показалось, что ненависть её сильнее всей безответной любви к нему длиною почти в двадцать лет.

– Что молчишь? Чего кричала ночью?

– Сон дурной. Бабочки. Показалось, что они в комнате.

– Какие бабочки? – Его передёрнуло от одного лишь произнесённого слова.

– На потолке. Бабочки на потолке.

Александр скрючился от судороги, схватил её руку ледяной, мокрой от пота ладонью.

– Не оставляй меня, я боюсь!

Раиса рывком высвободилась и пошла в ванную. Когда вернулась, застала его с маской ужаса на лице. Незрячими большими глазами он вглядывался в потолок, и она могла бы поклясться: он видел, видел там что-то такое, что видеть не хотел.

Раиса посмотрела вверх: потолок был пуст, лишь качающийся фонарь за окном лизал его жёлтым светом и тени чертили на его белой плоскости геометрически ровные линии.

Сердце Александра остановилось на рассвете. Врач скорой прикрыла ему веки, и, пока писала что-то на белом линованном, как потолок их спальни, листе, Раиса, вытирая слёзы, заметила новое выражение на лице мужа – выражение, которого она раньше никогда не видела. Это было удивительное спокойствие, даже какая-то блаженная радость. Как будто и правда под конец жизни увидел что-то, чего так долго ждал.

А после похорон, поминок и сорокового дня в окружении неизменных богемных приятелей Александра, подойдя к окну и посмотрев на закатное солнце, усталая, измученная Раиса положила ладонь на сердце и вдруг поняла: она беременна.

* * *

Колыбель покачивалась в такт старой песне, которую она помнила от родителей. Раиса с беспокойством вглядывалась в личико малыша и тихонечко молила судьбу, чтобы его отец не повторился в нём, таком маленьком, любимом, таком беззащитном. Но как уберечь сына от собственного отца, пусть и умершего, она не знала.

5

Пока Мосс отвечал на вопросы письменного теста, Логинов внимательно наблюдал за ним. На самом деле ответы пациента были ему не нужны, он хотел всего лишь оценить его реакцию.

Мосс, ссутулившись, сидел в кресле в кабинете доктора, положив на колени плоскую папку-планшет, под металлическим зажимом которой был прикреплён лист бумаги с опросником. Его лицо было спокойным, чуть отстранённым. Длинные пальцы шевелились, играли на невидимом маленьком клавишине, ресницы чуть подрагивали. Логинов знал, что Мосс ощущает его взгляд, всё из-за своей высочайшей сенсорности, но не хочет показывать, как ему некомфортно.

С прошлого его визита прошло четыре дня, это очень много, особенно в период обострения. Логинов составил план лечения, по которому они должны в первом цикле встречаться каждый день. Никаких телефонных разговоров или скайпа, только личные визиты. Но случившееся с Мариной внесло свои коррективы: пришлось отложить приём на два-три дня.

Мосс вдруг едва заметно шевельнул плечом, и Логинов заметил, как напряглись мышцы его лица. Чуть дёрнулся кадык, вероятно, от слатывания. Ещё раз, ещё. Сухость во рту, спонтанное слюноотделение.

– На каком вы сейчас вопросе, Виктор?

Логинов уже знал, что это вопрос № 14, спросил лишь для того, чтобы увидеть зрачки Мосса, когда тот оторвёт взгляд от теста.

– На четырнадцатом.

«Так и есть. Зрачки расширены».

– Продолжайте.

Логинов быстро сделал записи в планшете.

Работе с человеческими фобиями Феликс Логинов уделял повышенное внимание. Эта была не только его излюбленная тема – собственно, изучение панических страхов и привело его когда-то в науку. У Логинова была своя мучительная история, и каждый раз, сталкиваясь со сложным случаем, он неизменно ставил себе высочайшую планку: полностью уничтожить фобию. Наивность, достойная восторженной абитуриентки сестринских курсов, но не врача, специализирующегося на психиатрии.

Фобии – отдельный, существующий своей жизнью мир особой формации. Инсектофобия – боязнь насекомых – не самый сложный из этих миров. Но вновь и вновь Логинов убеждался, что страх можно только купировать, усыпить, но не убить. Вполне реально добиться, чтобы пациент адаптировался в непривычных для него ситуациях, встроился в социум, перестал испытывать тошноту и омерзение при касании лапок и усиков. Чуть-чуть умения и сноровки со стороны доктора – и пациента не будут изводить судороги и спазмы, дыхание останется ровным, давление нормальным. Есть, есть методы. Изучены, описаны, опробованы тысячи раз. В успешных случаях избавление от панического страха наступает быстро, особенно если его природа – брезгливость. Но всё же нет стопроцентной гарантии, что однажды не возникнет ситуация, которая даст новый толчок болезни – мощный и необратимый. И тогда маленькая невинная фобия подымет голову, как спящая обколотая кобра в корзинке у индуса, и одним прыжком убьёт человека, разрушив его мозг – собственный уютный дом, в котором гнездилась и спала. И это саморазрушение – единственный выход для неё: умереть вместе с хозяином неразлучными, не существующими порознь, как неразделённые сиамские близнецы.

В практике Логинова был случай, когда пациент, успешно излечившийся от боязни пауков, жил себе преспокойно двенадцать лет, открыл прелесть дачной жизни и больше не испы-

тывал паники при виде паутины в лесу и паучка на чердаке. В зоомагазине, покупая кошачий корм, подолгу смотрел на восьминогих волосатых птицеведов в банках и тихо праздновал победу над кажущимся ему бабьим страхом. Даже в руки паука мог взять, что порой не под силу тем, у кого и страха-то особого нет. Но однажды, садясь в лифт торгового центра в Москве, он увидел на стене плакат с рекламой то ли шоу, то ли мюзикла. На афише ярким пятном красовался паук-серебрянка, в природе – безобиднейшая тварь. И ужас от невинной картинки был настолько сильным, что через мгновение его скрутила судорога и спазм перекрыл доступ кислорода, будто кто-то подсоединил к нему высоковольтный провод. Его девушка, стоявшая рядом, ничем помочь не смогла. Человека можно было спасти, только вколов внутривенно сильное противосудорожное, что способно быстро снять приступ, но девушка не носила в сумочке шприца с ампулой, да и вообще не подозревала о страхах своего спутника. Когда дверь лифта открылась на нужном этаже, он был уже мёртв. Лежал красный, с выпученными от ужаса глазами, и руки его застыли в тщетной позе закрыть голову, защититься от смерти, смотрящей на него с плаката. Последнее, что слышала девушка, был его крик: «Паук! Уберите паука!» Если бы человек мог руками открыть дверь лифта, он бы, не раздумывая, прыгнул в шахту.

Метафизика страха сложна, многоступенчатая её суть всегда индивидуальна, один и тот же страх в разных ситуациях может быть снят разными средствами, иногда противоположными друг другу. Или не снят никогда. Наедине со страхом ты всегда одинок. Всегда. Это твой персональный ад.

Мы все чего-то боимся. В коктейле страха смешано много ингредиентов. Один из доминирующих – неизвестность. Инстинкт самосохранения – вот первичный бульон, в котором зародилась самая первая примитивная боязнь, чтобы затем окрепнуть, размножиться, окуклиться, пройти все стадии до имаго и, наконец, выпорхнуть лёгким невинным мотыльком на волю, полностью подчинив себе человека. Мы сами *делаем* свою голову. И сотворённая нами, рукотворная голова начинает *делать* всю нашу оставшуюся жизнь.

Мы не знаем, откуда в комнате посторонний шорох.

Нам страшно.

Тень промелькнула за окном.

Нам страшно.

Кто-то позвонил по телефону, но в трубке слышно лишь дыхание.

Нам страшно.

Что потом? Потом крышка от кетчупа закатится под шкаф в чужом доме, арендованном вами на лето, и вы не сможете достать её, потому что это всё равно что сунуть руку в нору с неизвестным зверьком. Он откусит палец, непременно откусит. Или ваша ладонь нащупает что-то неприятно-склизкое, страшно подумать, что именно. Или наткнётся на холодное, мёртвое. Конечно, под шкафом нет никого, вы это понимаете. Вам даже смешно. Но если при этом, когда вы засучили рукав и принялись шарить под шкафным пузом, – если при этом у вас участился пульс, ускорилось сердцебиение и если вы – да-да – думаете не о крышке, а о том, что там, под шкафом, может вас ожидать, – друзья мои, *welcome to the club!*

Вы ещё здоровы, но уже близки к той грани, которая отделяет норму от болезни. Ваше пограничное состояние хрупко, как песочное печенье, его можно запаковать в коробку с надписью *fragile* и рисунком рюмочки – не кантовать, не кидать, а то разобьётся. И, разбившись, заодно по пути разобьёт и мозг.

Всё начинается с эмоции. Когда эмоция даёт сбой – тогда появляется фобия. Если бы к психотерапевтам и психиатрам обращались ещё на стадии полураспада привычного эмоцио-

нального фона, до фобии дело могло бы и вовсе не дойти. Но, как правило, к врачу приходят тогда, когда жизнь уже окончательно отравлена, да и жизнь близких тоже.

– Я закончил.

Мосс отложил ручку и передал планшет Логинову.

– С вами всё в порядке?

– Да, док.

Логинов просмотрел анкету. Почерк убористый, нервный, с сильным наклоном вправо. Буквы «б», «в», «у» и прочие хвостатые – вытянутые, со сплюснутыми петлями, долговязые, так похожие на самого Мосса. Логинов взглянул на него – тот сидел, положив голову на высокую спинку кресла, закрыв глаза. Веки Мосса чуть подрагивали, ноги были скрещены, руки лежали на подлокотниках ладонями вверх, будто он принял какую-то асану йоги. Побелевшие фаланги, особенно на мизинцах... Будто какой стеклодув тянул трубочкой каждый палец, не торопясь оборвать тягучую стекольную массу, – такими аномально длинными они казались, особенно в мягком абрикосовом свете торшера.

– Вы очень быстро ответили на тест. Рад, что он не вызвал у вас затруднений, – сказал Логинов.

Мосс открыл глаза.

– Ну как там с моими ответами, док? Всё верно? Я выхожу клиническим идиотом?

Логинов рассмеялся:

– Здесь нет правильных или неправильных ответов, Виктор. И, уверяю вас, вы не клинический идиот.

Мосс сделал гримаску разочарования и взял с низкого столика один из журналов, которые Логинов держал специально для таких случаев. Пальцы быстро забегали, перелистывая страницы. Это движение пианиста-виртуоза, играющего «престиссимо», заставило Логинова оторваться от чтения опросника. «Ему необходимо чем-то обязательно занять руки».

С тестами для пациентов надо быть предельно осторожным. Психосоматика способна разрушить любые цитадели – настолько сильна её власть. Если спросить напрямую: «Не кажется ли вам, что под вашей кожей живут насекомые?» – огромное большинство тут же почувствует зуд и утвердится в мысли, что да, живут, и они, пациенты, точно знают, как выглядят эти насекомые, каков их размер и цвет, исцешутся до крови тут же, в кресле доктора. А ты, психотерапевт-экспериментатор, получи готового больного с ярко выраженной сенестопатией, и твоя обязанность теперь – передать его прямо из уютного кабинета с лампой и кушеткой в добрые руки ангелов клинической психиатрии. Таков гласный и негласный уговор между медиками: делить пациентов. Для их же блага. Логинов, чья практика находилась на стыке психотерапии и психиатрии, очень хотел верить, что чётко понимает, где он может помочь, а где, увы, нет и надо подключаться «тяжёлой артиллерии». Надеялся, что понимает. Он до последнего старался вести больного сам и даже знал, что мог бы сделать многое для исцеления, но правила игры в психиатрии таковы: если пациенту необходимо сильное медикаментозное лечение, делать это следует только в клинике и под наблюдением.

А тесты и анкеты сродни детонатору. Живёт не совсем психически уравновешенный человек, живёт себе, истерит помаленьку, а вот спросили его, к примеру, не замечал ли он когда-либо, что потолок падает ему на голову, он и призадумается. И ведь вспомнит, что было пару раз. Тут и здоровый человек засомневается. Относительно здоровый... Абсолютного здоровья не бывает.

Тест для Мосса Логинов придумал сам. Ради вопроса № 14 и нескольких, следующих за ним. Сочинил он их с очень большой осторожностью, чтобы лишний раз не будить зверя в голове Мосса. Но именно для этого самого зверя они и предназначались. Даже с большой

вероятностью того, что пациент при ответах мог слукавить, а лицом «сыграть», вопросы эти должны были утвердить Логинова в уже созревшей у него теории – теории агрессии. Если всё подтвердится – не ответами, нет, а состоянием и поведением Мосса в момент, когда он отвечал, – тогда...

«Тогда я тебя вылечу, дружок. Полностью».

– Виктор, – Логинов, оторвал взгляд от теста и внимательно взглянул на Мосса, – был ли вопрос, который вызвал у вас сложность с ответом? Или раздражение?

– Все анкеты меня раздражают, док. Особенно когда заполняешь бумажки на визу. Или при устройстве на работу.

– И всё же. Вы не испытали чувство...

– Страх? Нет, док. Я же не окончательный псих, чтобы бояться написанного слова. Я спокойно произношу. Бабочка, бабочка, бабочка. Вот, пожалуйста! И сознание не теряю. Это же бумага, а не та тварь, которая залетела ко мне в окно.

– Я спрашиваю не про страх, Виктор. Я спрашиваю про ненависть.

Он задумался. Желвак задёргался на скуле. Голубая жилка на виске проявилась отчётливей.

– А-а-а-а, вот вы о чём! Четырнадцатый вопрос. Вообще, какой идиот придумал этот тест?

Логинов улыбнулся.

– Ну да, да, док. Мне хотелось убить бабочку. Это плохо, да?

Это было хорошо. Очень хорошо. Впрочем, Логинов был почти уверен в этом его ответе, ведь Мосс взял у него заточенную булавку в последнюю их встречу. У Виктора необычное течение фобии, почти не изученное. А значит, нужно нестандартное решение. Людьми с лепидоптерофобией движет брезгливость. Им омерзительно даже подумать о том, чтобы приколоть бабочку булавкой. От одной мысли, что надо коснуться её – пусть даже не голой рукой, – у них наступает панический приступ. Нахождение в одном закрытом помещении с мотыльком равносильно смерти, и единственное желание, рождаемое неконтролируемым отвращением, – убежать подальше, куда угодно, только туда, где нет этого страшного, чудовищного насекомого. «Я же не окончательный псих» – так он сказал. А знал бы, знал, сколько людей не могут вынести даже невинно написанное слово «бабочка»! Посмотрят в книгу и стиснут зубы до крошева, дёрнутся от электрической судороги. Этот мир создан относительно здоровыми людьми для относительно здоровых людей. Реклама туши для ресниц – «Взмах крыла бабочки», девчоночьи розовые заколки-бабочки, галстуки-бабочки, японская стилизация – сплошные бабочки. Кто это изобрёл, не думал о ближнем, нет. А ближнему, возможно, достаточно одного упоминания, чтобы произошла беда. Уехать от цивилизации, убежать, спрятаться не получится: природа добьёт его. Падающий кленовый лист – не бабочка ли это, взглядишь внимательней? Шелест ветра в листве – а не взмахи ли её крыльев? Снежинка коснулась лба – а не её ли лапки трогают твоё лицо? А ты – ты такое же маленькое насекомое, никуда не убежишь, никуда, никуда...

Но Виктор другой. Он способен на злость. И в этом Логинов видел большую удачу. Надо разбудить в нём агрессию, потому что именно агрессия – мощная, ощетинившаяся тысячью сабель – поможет Моссу одолеть врага в собственной голове. А потом и поплясать на вражьей могиле. Только она. Только агрессия. Больше шансов для него нет.

* * *

Дверь в кабинет отворилась, и вошла Вера. Поздоровалась тихо, кивком головы, да так и осталась стоять на пороге. Логинов встал из-за стола и пошёл к ней, успокаивая улыбкой. Чувствовал на расстоянии, как колотится её сердечко, как она напряжена.

– Вера, здравствуйте! Не знаю вашего отчества...

– Можно просто Вера, – она застенчиво улыбнулась.

– Очень, очень хорошо, Вера, что вы пришли. Проходите. Вы пьёте кофе? Или, может быть, чай?

Она задумалась, будто он спросил о чём-то сложном. Сделала полшажка и остановилась в нерешительности.

– Нет-нет, спасибо, я не...

– Не стесняйтесь. В нашей встрече нет ничего официального и страшного.

– Тогда... – она снова задумалась, словно от её выбора зависело выживание человеческой расы. – Я бы не отказалась от чая. Зелёного, если можно. Без сахара.

«Зелёного, без сахара». Логинов выглянул в коридор и попросил Киру приготовить чай. В приоткрытую дверь была видна небольшая уютная приёмная, ряд синих кресел, в одном из которых сидел Мосс. Вера вытянулась тонким штришком, помахала мужу, но тот не заметил.

Логинов усадил её в кресло перед журнальным столиком, намеренно повернулся к ней спиной, ставя толстую книгу на книжную полку, – с тем чтобы за эти пару секунд она могла вдоволь повертеть головой и оглядеть кабинет – и повернулся, снова улыбнувшись. Вера, однако, кабинет не разглядывала, а смотрела прямо на него, сидя на самом краешке кресла и сомкнув острые коленки под тонкотканной узкой юбкой.

Вошла Кира, поставила поднос с чашками и чайником на столик.

«Зелёного, без сахара». Логинов распечатал коробку конфет, которую накануне подарила пациентка, предложил Вере. Она отрицательно помотала головой.

Зазвонил мобильный на столе. Это было крайне не вовремя, но Логинов по первым бетховенским аккордам понял, что надо непременно ответить. Он почти никогда не давал свой номер пациентам – за редким исключением, обговорив, что звонить ему можно только в экстренных случаях. Бетховен как раз и указывал на подобный звонок. Это может быть либо Гольфист, либо Мама Сью, великая и ужасная, либо новый его тревожный пациент, которого он про себя называл Бельгийцем за постоянный юмор в отношении французов и усики как у Эржуля Пуаро. Четвёртым человеком, которому он непременно даст номер своего секретного мобильного, будет Виктор Мосс, когда они начнут активное лечение. Пятым – Вера.

– Извините, срочный звонок, – Логинов потянулся к телефону. – Я слушаю.

Это оказался Бельгиец. Он стоял и плакал возле двери в зубную клинику. Открыть её Бельгиец не решался, потому что был уверен, что его убьёт током.

– Ручка под напряжением, понимаете?!

– Понимаю, Антон Петрович. Вы правильно делаете, что не трогаете её. Дождитесь кого-нибудь, кто будет входить или выходить...

– Я не могу! – в трубке послышалось рыдание. – Я уже десять минут стою, никто не выходит и не входит. А у меня приём назначен. Если я опоздаю, случится беда. Я читал в интернете, что один человек в Москве умер от кариеса...

Логинову захотелось поморщиться, но присутствие Веры сдержало его. Он прервал красочный рассказ Бельгийца о неминуемой смерти от рук Зубного Антихриста и произнёс – мягко и ласково, как ребёнку:

– Антон Петрович, волноваться, а тем более плакать не стоит. Где вы находитесь?

Бельгиец воодушевленно назвал адрес, рассчитывая, вероятно, что Логинов сорвётся и примчится к нему поработать швейцаром у входной двери. Но Логинов никуда мчаться не собирался.

– Антон Петрович, я знаю это место, там на углу, справа от вашей клиники, есть аптека. Вы сейчас туда пойдёте и купите пару резиновых перчаток.

– Зачем? – икнула трубка.

– Через резиновые перчатки ток не проходит. Вы спокойно сможете дотронуться до ручки, зайти в клинику и вылечить зуб. Давайте, мой дорогой, сделайте так, как я вам говорю.

С Бельгийцем надо было что-то делать – то, на что у Логинова не было «официального разрешения». Когда-то было, но те времена остались в прошлом. Он решил провести с ним ещё один сеанс и настоять на консультации у знакомого психиатра в закрытой клинике. Да, пациент обратился именно к Логинову, потому что хотел избежать «традиционных» методов. «Я ведь не псих» – так говорят они все. Но с Бельгийцем ему давно уже стало понятно, что без официальной клинической психиатрии не обойтись. Для блага самого Бельгийца.

Попрощавшись с ним и положив телефон на стол, Логинов заметил, с какой заинтересованностью и уважением на него смотрит Вера. Он дал ей знак, что сделает запись в планшете, и снова кивнул на конфеты. На этот раз она взяла одну и положила в рот. Лёд постепенно таял, тугие бинты, спеленавшие её плечи, распускались, и Вера понемногу расслаблялась.

Пока она прихлёбывала чай – маленькими глоточками, как пичуга, Логинов осторожно её разглядывал.

Она вся была бесцветна, хотя и миловидна: с мелким невнятным лицом, словно кто-то распечатал её портрет крестиками на допотопной ЭВМ, как некогда популярную у отцов-программистов Мону Лизу, – краски полустёрты, разбавлены, пугливые серые глаза, бледные блёклые реснички, волосы цвета дороги стянуты в тугий хвостик на затылке. Маленький воробышек, невзрачный и трогательный.

Одета она была, как будто специально, в бежевый свитер и серую юбку. Логинов попытался представить на ней тот самый жёлтый платок «Гермес», но так и не смог. Жёлтый цвет совсем ей не к лицу, он подчеркнул бы и без того устричную бледность щёк и мешки под глазами. На вид ей было тридцать, но, возможно, она старше.

Какая странная пара – Виктор и Вера. Как будто с разных планет. Что их может связывать, кроме одинаковой буквы, с которой начинаются их имена? И какой насмешник раскрутил бесовский маховик, чтобы в центростремительной этой силе два абсолютно несовместимых биоорганизма столкнулись лбами и поняли, что созданы друг для друга?

– Чем вы занимаетесь в жизни, Вера? – Логинов отложил планшет, сел в соседнее кресло рядом с ней и подлил ей чай из клювастого белого чайника.

Она оживилась:

– Я репетитор по немецком языку.

Логинов по старой привычке, выработанной ещё в студенческие годы, попытался поставить ей диагноз по внешнему облику. Когда-то эта традиция долгое время не могла толкнуть его на отношения с девушками, потому что после подобного сканирования они ему были уже неинтересны.

Вера. «Зелёного, без сахара». Интроверт. Астеник, проблемы со сном. Возможно, мочекаменная болезнь – если не сейчас, то к сорока годам точно. Наверняка вегетарианка. Немного близорука, но сегодня без очков. Не исключено, что они в сумочке – оправа у них будет коричневая или бежевая, пластик, не металл. Небольшой сколиоз – это видно по шее. Всё предсказуемо, только вот жёлтый платок дорожкой марки не укладывался в пазл. Может быть, не она?

– Скажите, Вера, я не мог вас видеть в Риге? Февраль прошлого года, галерея «Арсенал»?

Глаза её раскрылись так широко, что она похорошела.

– Да-а... Мы были в Риге... «Арсенал», конечно! У Виктора была там выставка. То есть не у него одного, а у группы художников, и он... Но, Феликс Георгиевич, неужели вы меня запомнили? Это невероятно!..

Логинов подумал, что, наверное, при Вериной внешней тонкорунной блёклости ни одно живое существо в мире не способно было бы удержать её облик в памяти больше недели.

– Невероятная память! Муж говорил, что вы необыкновенный человек! Вы так с ним схожи!

Вот это была для Логинова новость! Схожий чем? Аномальной памятью, неординарностью, цинизмом, наконец? Внешне они полные антиподы: Мосс – долговязый черноволосый молодой художник, утончённый, депрессивный, с богатым букетом болезней в анамнезе и неустойчивой головой. Скорее всего, талантливый. А он, Логинов, сорокапятилетний лысеющий мужик-психоаналитик с грузной комплекцией, здоровьем марафонца и беспокойной биографией. В чём же их сходство? Но Вера развивать эту мысль на стала.

– Феликс Георгиевич, я очень волнуюсь за Виктора!

Она взглянула на него, и он отметил, что глаза у неё умные.

– Волноваться не стоит, Вера.

– Пожалуйста, не скрывайте от меня! С ним что-то страшное?

– Нет-нет. Мне просто надо поговорить с вами как с самым близким ему человеком. Хочу взять вас в союзники, только так мы сможем помочь вашему мужу.

Она кивнула, отставила чашку, приготовилась внимательно его слушать, наклонив голову чуть набок, как дрессированная собачка.

– Он ведь не болен?

Сколько раз он слышал эту фразу! И сколько раз уклонялся от ответа ради успеха лечения.

– Понимаете, Вера, я работаю с пограничными состояниями. У Виктора как раз такое.

Она отвела глаза.

– Скажите, ваш муж никогда не проявлял агрессию, спровоцированную его страхами?

Вера задумалась.

– Прошлым летом... Маленькая девочка случайно увидела, как он испугался, закричал, когда на его плечо села бабочка. Девочка засмеялась, назвала его трусом и психом. Дети жестоки... И рядом, на набережной, были люди, они так смотрели на Виктора... Он очень расстроился, не мог работать.

– На набережной?

– Мы ездили в Светлогорск. Была хорошая погода, много гуляющих на набережной. Виктор иногда вырезает ножницами силуэты – знаете, такие из чёрной бумаги. Профили. Ему очень нравится, хотя деньги и небольшие. Но ведь не из-за денег...

– Вера, – Логинов прервал её, – поведение мужа как-то изменилось после этого?

Она молчала.

– Вера, дорогая, мне надо непременно знать. Не скрывайте от меня, всё это очень важно для лечения. Виктор был груб с вами?

Она нехотя кивнула.

– Он очень расстроился. Мы пытались бороться, я убрала все изображения бабочек, всё, что могло бы ему о них напомнить. Книжки, где они упоминаются, отдала подруге. Но ведь летом никуда не спрячешься. И скоро, всего через месяц с небольшим, начнётся сезон. Не в Антарктиду же нам уезжать?

Логинов снова подлил ей чаю. Вера кивнула в благодарность и вдруг выпрямила спину, наклонилась к нему, затараторила шёпотом:

– Феликс Георгиевич, помогите ему, прошу вас. Мне кажется, ему становится хуже. Я в ужасе жду мая. Он бесстрашный, он по канату может ходить с закрытыми глазами и без страховки, как циркач, с обрыва прыгать, дыхание под водой задерживать, но бабочки его когда-нибудь убьют. Витя боится их панически. От одной мысли о том, что мотылёк где-то рядом, ему становится нехорошо. Вот в прошлый раз, когда он приходил к вам, утром того самого дня... Вылетела одна крохотная моль, не пойми откуда, из шкафа или кладовки, а ему показалось, что это полчище мотыльков. Он очень испугался, и я вместе с ним. Он так кричал, у меня разрывалось сердце...

– Я сделаю всё возможное, чтобы помочь.

Логинов вновь взял планшет и сделал запись.

– Скажите, – продолжала шептать Вера, – это серьёзная болезнь?

– Ну... Будем считать, что в нашем случае – нет. Многие боятся бабочек. Николь Кидман, например.

Вера улыбнулась – едва заметно, одними глазами.

– Но ведь все люди чего-то боятся...

– Да, безусловно, – кивнул Логинов. – Мы все чего-то боимся. Это нормально. И в большинстве случаев тревогу поднимать не стоит, просто надо убрать причину страха. Вы хотите знать, где грань между нормой и патологией?

Вера кивнула, зависла с чашкой у подбородка. Логинову вспомнилась бородатая байка, популярная когда-то среди психиатров: «Если вы разговариваете с кошкой – это ещё норма, а вот если вы боитесь при кошке сболтнуть лишнего – это уже паранойя».

– Боязнь бабочек, Вера, ещё не повод обращаться к доктору. Но если страх перед насекомыми вызывает у человека приступ доминирующей неконтролируемой паники с вегетативными проявлениями... Я не слишком сложно изъясняюсь? Так вот, то, что принято называть соматикой – повышение давления, учащённое сердцебиение, потливость... Что ещё? Боли, сухость во рту, расстройство желудка – это уже фобия. И если её не лечить, то случится беда. Это может привести как минимум к социальной дезадаптации. Иными словами, наступит день, когда человек не сможет покинуть свой дом и, даже находясь дома, не найдёт спасительного убежища. Потому что нервы напряжены до максимального предела: он всё время ожидает угрозы, боится очередного приступа паники, который не в силах держать под контролем. Это состояние очень тяжёлое.

Вера с ужасом посмотрела на Логинова.

– Почему, почему это происходит? Почему именно с Виктором, доктор? Я не понимаю. Бабочка – она ведь такая красивая...

– Это сложно понять, Вера. Обычно корни фобий надо искать в раннем детстве. Насекомое сильно напугало ребёнка, или родители сами боялись, а дети легко копируют поведение.

– Да, – согласилась Вера. – И я спрашивала, но Витя не говорит. Конечно же, было что-то, что дало толчок.

Он задумался. Безусловно, аномальная память Виктора, его стеклянная психика, фантомные боли по нерождённому брату-близнецу многое объясняли Логинову-теоретику, но Логинову-практику не помогли нащупать ходы к лечению. Произошёл сбой кода, и перепрограммировать мозг – вот первичная задача. Только как решить её? Он ещё и ещё раз, прокручивая всё в голове, убеждался: только рождение агрессии может дать результаты. Да, это ненаучно, но учёные в большинстве своём систематизаторы, а не открыватели. А он, Логинов, псевдоучёный – так его назвали на одном заседании кафедры Карлова университета... И, как псевдоучёный, он найдёт выход. Обязательно найдёт!

Только как объяснить всё Вере?

– У Виктора необычная фобия. То, что с ним происходит, – это подсознательное отрицание иной формы жизни. Поэтому бессмысленно искать первопричины. Он уже принял свой страх как данное. Это почти не поддаётся лечению.

– Что же делать, Феликс Георгиевич?

И снова зазвонил мобильный, давась Пятым концертом Бетховена. Логинов, извинившись, подошёл к письменному столу, поднёс телефон к уху.

– Доктор! Вы гений! Вы спасли мою жизнь! – отозвался бодрый голос Бельгийца. – Через перчатки ток не передаётся! Я открыл дверь!

– Я рад за вас, Антон Петрович. – Логинов представил, как Бельгиец сидит в приёмной дантиста в белых латексных перчатках и довольно шевелит усиками, как таракан.

– Я хочу спросить. А можно я теперь постоянно буду в них гулять? А то неизвестно, когда и где они снова подключат ток.

«Они». Логинов быстро записал в настольный календарь-ежедневник: «Б», «ПС», «И».

«Б» – означало «Бельгиец», «ПС» – «параноидный синдром», «И» – доктор Иванчев, психиатр, закрытая психиатрическая клиника. Бельгийца пора было «сдавать» по назначению.

– Конечно, мой дорогой. Носите перчатки с собой. И вот что. Я бы рекомендовал вам поговорить с моим коллегой, сегодня же позвоню ему.

– Он разбирается в электричестве?

– Он лучший в Калининграде специалист по электричеству. Обещайте его слушаться.

С трудом прервав изливания в любви и благодарности, Логинов нажал «отбой» и посмотрел на Веру.

– У меня есть кое-какие идеи по поводу лечения Виктора. Если вы, Вера, мне поможете, вместе мы добьёмся хороших результатов.

Она вытянулась, стала будто выше ростом, сидела ровно, почти не продавливая кресло.

– Конечно, доктор, вы можете рассчитывать на меня. Что нужно делать?

Логинов подошёл к ней, заглянул в преданные глаза – так, что она чуть отклонилась, задрал голову, потом встала.

– С этого дня, Вера, вы начнёте будить в нём чудовище. Ежедневно и ежеминутно.

6

Вера прыгнула в старенький «фольксваген», включила печку и радио. Вентилятор фыркнул, выругался, сосредоточенно выдул тёплую струю. Вера порылась в бардачке, нашла гробик очечника, нацепила очки на тонкую переносицу. Рука в кармане нащупала картонный прямоугольничек визитной карточки. «Врач Логинов Феликс Георгиевич. Помощь в тяжёлых ситуациях». Просто, лаконично – синий шрифт на белом картоне. Ничего лишнего. Не упомянута специализация, сухо и сдержанно: «Врач». Это деликатно, а у кого есть визитка Логинова, тот уж не забудет, по какому поводу она у него появилась. Сверху от руки приписан номер мобильного, вероятно, личный.

Мосс стоял возле машины, курил. Лицо его было сумрачным, глаза – угрюмыми. Докурив сигарету и швырнув окурки в брюхастую урну, он открыл дверцу и прыгнул на пассажирское сиденье. Вера убрала визитку в карман пальто и завела мотор.

– О чём он говорил с тобой так долго? – спросил Мосс.

У неё уже был придуман ответ на этот вопрос.

– Долго? Мне не показалось. Я записала пару успокоительных рецептов, надо будет купить аптечный травяной сбор.

– На кой я тогда пью таблетки?

– Ну, милый, травяной чай лишним не будет. Мама ещё прислала зверобой с пустырником на прошлой неделе. Очень кстати.

Мосс отвернулся к боковому стеклу. Вера была рада, что он не выспрашивает подробности: врать она категорически не умела.

– Ерунда всё это, – Мосс провожал глазами встречные автомобили, размытые акварельными кляксами на мокром стекле. – Сейчас конец марта. Через месяц появятся капустницы. Если сеансы и травки не помогут, я перестану ходить к нему. Пустая трата денег.

– Что ты, Витенька! – пылко возразила Вера. – Ты же сам признался, что тебе становится легче и ты начал кое-что понимать про себя. И что благодарен доктору...

Она вдруг замолчала.

– Я вспомнила!

– Что?

– Я вспомнила его! Конечно! Он сказал, что видел меня на той выставке в рижском «Арсенале»!

– Почему я его не помню?

– Ты же пропадал с партнёрами и журналистами, тебе не до этого было. А я вспоминаю: залы уже закрывались, я потеряла платок – тот самый, шёлковый, с лошадиными головами, который мне подарила ученица после окончания курса. Феликс Георгиевич его нашёл. Надо же, как тесен мир!

Мосс снова отвернулся, всем видом показывая, как ему неинтересна эта информация. Вера вглядывалась в пробегающих по зебре пешеходов с зонтиками и ёжилась от неуютной мысли, что у неё есть в запасе всего четыре недели.

* * *

В старой квартире было тихо и темно. Выключатель по неизвестной логике находился не сразу у входной двери, а чуть дальше по коридору, у старого громоздкого зеркала. Вера неоднократно просила мужа перенести его поближе, но он каждый раз отмахивался: так было при его родителях и при деде, и выключатель для него – память о них. Вера знала, что он не

может их помнить – деда и отца он не знал совсем. О матери, умершей, когда ему было семнадцать, Виктор почти не рассказывал, лишь когда Вера была настойчива, он пожимал плечами и говорил: «Ты на неё похожа».

Мосс по привычке снял в темноте ботинки и, не зажигая света, прошёл в свою комнату-мастерскую, включил компьютер. Ему было комфортно в привычном полусумраке, он мог бродить по квартире ночью, не зажигая электричества, точно кот. Вере же всегда не хватало света, и она включала все лампы одновременно, даже прикроватную подсветку для чтения, но всё равно проигрывала неравную битву серому квартирному полумраку, поселившемуся в этом доме давно и навечно.

«Как ты можешь жить, точно крот? – спрашивала она мужа. – Ты же художник. Художникам необходим дневной свет».

«Мне – нет, – отвечал Виктор. – Я – компьютерный червь».

Вера нажала кнопку выключателя, присела на табурет, расстегнула молнию сапога. Один её ученик, философ по призванию и биржевой маклер по роду занятий, которому немецкий нужен был «для души», как-то сказал ей, что уволил свою давнюю верную секретаршу, потому что не мог выносить её утреннее «де-сапожье». Это выражение – что-то сродни французскому «дезабилье», которое он понимал исключительно как «сывать бельё», что, безусловно, было неправильно. «Вы только представьте, Вера Леонидовна, – говорил философ-маклер, – вот она каждое утро приходит на работу, плюхается на стул и с крѐхом начинает снимать один сапог, потом другой, долго трѐт голень, шевелит пальцами в колготках. Потом надевает ужасающие туфли-тапочки. В такие моменты я начинаю ощущать, что у меня живот вырос, и лысина, и поясница побаливает. И настроение портится на весь рабочий день». Вера и ученика-то самого почти забыла за давностью лет, но в закоулках памяти навсегда отложилось, что старение женщины считывается по тому факту, как эта женщина снимает сапоги...

Вера была старше Виктора на шесть лет, ей только что исполнилось тридцать пять, но разницу в возрасте и сам возраст она больше ощущала внутри, нежели в зеркале. «Маленькая собачка до старости щенков». При её subtilности и любви к йоге можно было долго бегать «в щенках». Но последний год Вера чувствовала, что изменилась. Менялось всё вокруг – устарели учебники, обветшала штукатурка на потолке, вышел из моды её любимый брючный костюм, поседели многие друзья и знакомые – не изменился только Виктор, такой же молодой, как и пять лет назад, когда они поженились, такой же недоступный и всегда немного отстранѐнный.

Она стала скучна. Но скучна не той безликой мышастой мастью, а по-иному: события в её жизни, даже самые яркие, перестали волновать мужа. Он как-то заметил: из её некогда образной речи исчезли выражения, так украшавшие её язык, делавшие её образ целостным и небанальным: «я пришла в ярость», «я феерически обрадовалась», «я чуть с ума не сошла от волнения». Она больше не приходила в ярость либо построила свою жизнь так, что ярость её не навешала. Она ещё радовалась многому, но уже не феерически. И полностью перестала волноваться так, чтобы чуть не сойти с ума. Однажды он спросил её: «Когда ты в последней раз ликовала?» – «Что делала?» – не поняла она. «Ликование – это такое чувство...»

Насчѐт своего семейного счастья Вера давно уже не строила никаких иллюзий. Она была для мужа недостающим элементом пазла: встраивалась в пространство легко и математически точно. Если бы её не было, он бы сразу заметил пустоту, а так не замечал: встроилась и встроилась.

Надев домашний халат, Вера прошла на кухню, включила электрический чайник.
– Попьѐшь чаю? – крикнула она мужу.

Он не ответил. Видимо, сидел в наушниках, слушал своего Берлиоза, которого Вера не понимала. Пока вскипала вода, она прошлась по квартире, оценивая взглядом каждую вещь.

«Для него любой привычный предмет отныне должен таить неожиданность». Это слова доктора.

Вера так и не смогла полюбить эту огромную неуютную квартиру в старом доме прусского стиля с тёмной лестницей и стёртыми, как старушечьи зубы, ступенями. Здесь всё оставалось чужим – и высоченные потолки, и древние двойные оконные рамы, и громоздкая мебель тоталитарного вида, некогда признак достатка и благосостояния. И даже вид из окна – на церковь Луизы и соседние здания со стрельчатыми окнами, витыми решётками балконов и вытянутыми карамельными крышами. Дух старого Кёнигсберга, который так любил Виктор, навевал на неё глухую неистребимую тоску, и она радовалась каждый раз, когда случались редкие поездки к родителям в Петербург или в отпуск. Куда-нибудь, где много света и люди смеются...

С Моссом Вера познакомилась около шести лет назад на одной шумной богемной вечеринке. Она только что развелась с первым мужем, умным, но упрямым и невероятно занудным преподавателем химии, который перевёз её из Петербурга в Калининград, уверяя, что разницы никакой нет, и там и там сырость и холодная Балтика рядом. Но Вера разницу чувствовала кожей: ей не хватало петербургских набережных, шума Невского проспекта и бесконечного серпантина театральных премьер. Муж вздыхал, говорил, что она с жиру бесится и что, мол, если страсть улеглась, так и скажи. Вера так и сказала, умолчав, что страсти-то особой и не было никогда, а замуж она выскочила в восемнадцать лет по девчоночьей глупости. После развода Вера тем не менее осталась в Калининграде, занялась репетиторством и назад возвращаться не торопилась.

Мосс поразил её сразу, как только она увидела его. В двадцать девять лет Вера не верила ни в какую любовь с первого взгляда, и когда они, свесив ноги вниз, сидели на подоконнике в его квартире, заявила ему: «Есть общность взглядов и совпадение жизненных акцентов. Всё остальное – беллетристика». Но что-то было в этом худом двадцатитрёхлетнем парне с полуцыганской внешностью и холодным взглядом гранитно-серых глаз. Он с особым интересом наблюдал за тем, как она двигается по его квартире, как щебечет всякую ерунду и пытается активно вовлечь его в беседу. Потом он неожиданно подошёл к ней и сказал, что хочет нарисовать её голой. Вера подумала было возмутиться, но вся прошлая прожитая жизнь с опостылевшим мужем была таким серым пятном в её сознании, без единого яркого мазка, что она согласилась.

Рисунок вышел изумительным, но Мосс был недоволен. Сказал, что три года рисования монстров и сисястых красоток для комиксов, чередуемых прорисовкой персонажей для мультфильмов местной студии, начисто испортили его руку. Вера с трудом вырвала у него портрет, который он хотел порвать. Потом позировала Виктору ещё и ещё. Он говорил, что ему надо напиться красоты, чтобы не умереть, и писал Веру каждый день. Так начался их роман.

С ним не было лёгкости – той лёгкости, которую она всегда ждала и которую так и не получила. Ни на минуту её не оставляло чувство иллюзорности их совместного существования, лёгкого пшика, как от выветривавшегося в бутылке лимонада. Вот они вместе и в то же время порознь, он ускользает, он с ней и в то же время не с ней. Глаза Виктора смотрят на неё, но сам он очень часто не здесь, а где... Где? Его холодность и одновременно страсть в минуты близости держали Веру в вечном ожидании чего-то, что должно произойти. Не плохое, не хорошее. Просто нечто, что она предчувствовала, но объяснить не могла. Каждое их свидание виделось ей как последнее.

А через месяц после их знакомства, неожиданно для всех и прежде всего для самой Веры, Мосс сделал ей предложение. Она хотела отшутиться, сказать, что они мало знают друг друга, что он даже не поинтересовался за всё это время, как её фамилия и из какой она семьи. Вера даже набрала в лёгкие воздуха, чтобы ответить «нет», но неожиданно сказала «да».

– Только я ведь старше тебя. Ужас, на шесть лет!

– Ну и что, – равнодушно ответил Мосс. – Возраст – это ваши женские заморочки, а мне всё равно.

Она улыбнулась, обняла Виктора и пообещала родить ему сына и дочку. Но за пять лет их брака обещание, к её великой печали, сдержать так и не удалось. Причина оказалась в абсолютном нежелании Мосса плодиться и размножаться. «Приводить в этот грязный, несправедливый мир маленькое живое существо, которому я ничего не смогу дать, кроме наследственных болезней и нищеты, жестоко», – говорил он. А через год после свадьбы Мосс взял Веру за подбородок, заглянул в зрачки и сказал:

– Жениться на тебе было с моей стороны абсолютным эгоизмом. Ты свободна. Иди куда хочешь. Роди ребёнка от румяного менеджера. Будь счастлива. Прости. Я больше не люблю тебя.

Она проревела сутки, собрала чемодан, сообщила родителям в Петербург, чтобы встречали. Момент подгадала, когда мужа не было дома: не хотелось патетических сцен. Но в последний момент у чемодана сломалось колёсико, она присела на корточки, чтобы приладить его, но ничего не получалось. Себя нельзя начинать жалеть – едва пожалеешь, и слёзы не остановить. Она проревела у чемодана ещё, наверное, минут десять, пока не пришёл из издательства Мосс, для которого слёзы совсем не предназначались.

– Если хочешь, останься, – произнёс он.

Ей показалось, что сказал он это так же равнодушно, как и тогда, когда просил уехать.

И она осталась. Вопреки здравому рассудку и отговорам подруг и родителей. Так прошли ещё четыре года, в любви и нелюбви, ласках и отчуждении, суетности будней и треморе тонюсенькой стрелки на шаткой шкале «соседство – супружество».

Чайник сердито заухал, как филин, и Вера возвратилась на кухню. Заварив любимый улун, она налила чай в любимую синюю чашку – единственное напоминание о Петербурге – и, согревая руки о её глазурный керамический бок, прошла в спальню. Взгляд невольно остановился на портрете матери Мосса, сделанном когда-то его полуслепым отцом. Вера заметила, что, где бы в комнате она ни находилась, глаза этой Раисы всегда смотрели на неё. Та словно выглядывала из портрета – выглядывала с любопытством и немного с испугом, а штриховая техника рисунка добавляла иллюзии её присутствия в доме. «Ты похожа на неё», – вспомнила она слова Виктора.

Вера подошла чуть ближе, хотя за пять лет пребывания в этом доме изучила рисунок досконально. С портрета на неё глядела женщина примерно её возраста, с приятными мягкими чертами лица, короткой стрижкой-каре и широко распахнутыми глазами. Как удивительно написано её настроение и состояние! Трудно поверить, но этот рисунок, если верить легенде, был написан «на ощупь»! Вера пригляделась... Что-то было в этих глазах... Как будто она только что плакала...

Вера поставила чашку на прикроватный столик, пододвинула стул к стене, забралась на него, осторожно держась за спинку. И вдруг заметила двух маленьких бабочек, притаившихся в самой сердцевине зрачков...

Она была так поражена, что, закачавшись, чуть не упала со стула. Спрыгнув, Вера вновь посмотрела на портрет. Удивительно! Вот он – эффект аниме... Хотя аниме в те годы ещё не существовало. Большие глаза за секунду до слёз! Разорванный блик – это же крылья бабочки, как она раньше не замечала!

Вера вбежала в кабинет Виктора. Везде на полу валялись карандашные эскизы нового комикса. Мосс сидел за компьютером и правил рисунок на экране, вода специальной палочкой по серой плоской подставке на столе. Вера никогда не могла запомнить её название.

– Витя!

Мосс не реагировал. Она подошла, стащила с его уха наушник. Он раздражённо обернулся:

– Я же сказал, что не буду чай!

Она вдруг замерла. Что она скажет сейчас? Бабочки в зрачках матери? Лукавство руки гениального художника, каким был его отец? Одно упоминание бабочек нанесёт Виктору боль, уж Вера-то это знает.

– Прости, милый... – Она развернулась, пошла на кухню, села на табурет.

Прислонив лоб к холодильнику, усыпанному пёстрыми магнитиками, точно пирс крабами, она думала о том, что сейчас предаст Виктора. Надо только набраться сил! Это ведь несложно, доктор убедил её, привёл неоспоримые аргументы. И она уже решилась... Но ватная немота сковала тело, парализовала руки, налила каждый палец горячим растопленным оловом. Портрет не выходил из головы, мать Виктора смотрела на Веру изнутри её, Вериной, черепной коробки, давила на лобные кости, билась о мозг, как кит о корабельный остов. И глаза матери с крохотными бабочками на краешке слезы отныне и навсегда будут смотреть на неё с немым ледяным укором. И никуда не спрятаться от этого взгляда! Никуда!

Из оцепенения Веру вывел трезвон мобильного. Она бросилась в прихожую, к сумочке, судорожным движением вынула телефон.

– Верочка? – послышался бархатный голос.

– Да, Феликс Георгиевич. – Она узнала его сразу, скорее почувствовала.

– Вы не передумали? Звоню вам, чтобы поддержать.

«Он настоящий дьявол, этот доктор Логинов», – мелькнула быстрая очевидная мысль.

– Нет, Феликс Георгиевич, – Вера постаралась придать голосу как можно больше твёрдости.

– Вот и умница! – ответил лукавый голос. – И помните: это только для блага вашего мужа. Ради его выздоровления!

– Да. Ради блага. Ради выздоровления, – на автомате повторила она, попрощалась и вернулась на кухню, прихватив сумку.

Плотно закрыв за собой дверь, она достала из косметички маленький жёлтый стикер, на котором был записан нужный номер.

– Компания «Сад Баттерфляй», здравствуйте! – проворковал лёгкий девичий голосок.

– Здравствуйте, – спокойно сказала Вера. – Я хочу заказать у вас подарок мужу к ближайшим выходным.

– Пожалуйста. Каких бабочек вы хотите?

– Разных. Обязательно разных.

– Сколько.

– Сто. Нет! Двести штук! Сколько поместится в обычную коробку из-под обуви? Чтобы доверху. Лентой перевязывать не надо.

7

Визиты пациентов давно закончились, но Логинов уходить не спешил. Перед ним лежали толстые медицинские справочники, высунув многоязычье пёстрых лент-закладок, растрёпан-ные тетради, записные книжки с распухшими, слоёными, как колония древесных грибов, листами. На мониторе компьютера светилась страничка одного популярного среди его коллег сайта. Логинов устало водил мышкой по экрану, не в силах встать и заварить себе десятую за вечер чашку кофе. Раздел «Психиатрия», подраздел «Обсуждения сложных случаев». Он зарегистрировался на форуме под ником «Наблюдающий». Публика сайта в основном общалась на тему, как он сам определил, «что-то пошло не так». Логинов хотел было написать: «Друзья-коллеги, да всё, всё в любой момент может пойти не так! Вы лечите не перелом ключицы, а перелом головы. А шину на голову не наложишь!» Его раздражали многие участники форума, пишущие: «Сделал всё, что нужно, но...» или «как положено», а ещё хуже «как учили», но вот, видите ли, у пациента обострение. Какой искус написать: «Это потому, что вы, долбоголовые, делали, как вас учили и как положено!» Но он не хотел «светиться» на форуме, вступать в полемику. Анонимов тут не жалуют, а появившись он под своим настоящим именем, наверняка кто-нибудь раскопал бы его чешскую историю, и полетели бы в его голову навозные комья. Не исключено, что Логинова бы сразу «забанили», перекрыли доступ к информации. А это плохо. Его задача – собрать статистику. А также понять, был ли кто-то из коллег близок к тому, что собирался сделать Логинов. Научных статей он точно не нашёл, а вопрос, который он задал форумчанам несколько дней назад, принёс целый шквал обвинений в шарлатанстве. Зажечь слабый фитилёк ненависти, раздуть из искорки пламя агрессии – этот опыт стоило поставить хотя бы ради чистой науки. Впрочем, думалось ему, чистой науки, как и абсолютного здоровья, не бывает. К тому же термин «чистая» к медицине, на его искушённый взгляд, совсем не подходит.

«Ханжи, – думал Логинов. – Вы никогда не продвинетесь и на йоту к решению проблемы! Вы способны лишь на жалкое повторение чужого успешного опыта». Он закрыл ноутбук, выключил настольную лампу и закрыл глаза, уставшие за долгий рабочий день.

* * *

Логинов не любил вспоминать об этой истории. Ему казалось: вот он, некогда уважаемый в Европе психиатр с кипой научных статей, напечатанных в лучших медицинских журналах, с завидным рейтингом цитирования и великим множеством пациентов, которым он смог помочь; он, пользовавшийся особой благосклонностью чешской элиты, – он плывёт в большом белом эмалированном тазу по зловонной сточной канаве и вытаскивает за волосы из дерьма тонущих; сажает их к себе в таз, вытирает им глаза и губы рукавом белого халата. И те начинают дышать, начинают видеть... Да, именно так, так, так, хотя он, как психиатр, знал, что отождествление себя с дедом Мазаем уже само по себе тянет на полновесный диагноз.

Логинов убеждал себя, что из Праги пришлось уехать – убежать – из-за проблем с Мариной, но всё же на доньшке сознания плескалась жестокая правда: он струсил, побоялся стать изгоем на кафедре Карлова университета, позорно сбежал. Профессор Станкевич, единственный, с кем он советовался, сказал ему тогда: надо уйти сейчас. Переждать. Затаиться. Наука не закрывает свои двери, просто нужно время.

Всё началось с одного молодого пациента. Его звали Вилем, и у него была патологическая вязкость мышления. Парню исполнилось семнадцать, и в последний год он стал невыносим

для окружающих. Разговаривать с ним было мукой: речь Вилема, медленная и тягучая, как нагретый пластилин, пугала несуществующими подробностями, путаными деталями и нюансами. Голос раздражал гнусавостью, будто нарочитой, и всё, что говорилось, звучало как песня-транс каких-нибудь байкальских шаманов. На простой вопрос о времени на часах, предполагающий однозначный ответ, пациент мог долго и занудно рассказывать, как завязывал шнурки на ботинках, а соседи купили две швабры и поставили на балкон, при этом в Африке, он прочёл, не было дождей, когда изобрели атомную бомбу. Логика и связь между понятиями отсутствовали напрочь.

Юноша происходил из очень высокопоставленной генеральской семьи, и папа-генерал уже приготовил сыну лакированную карьеру в военном ведомстве. К Логинову генерал обратился за помощью лично: нужно было в кратчайшие сроки подогнать Вилема под рамки социального адекватности.

Чаще всего вязкость мышления проявляется как сопровождающий симптом эпилепсии, но эпилептиком Вилем не был. Логинов провёл с ним два сеанса, на втором заговорил с пациентом его же языком – бессвязно и многословно – и к концу встречи убедился в том, что подозревал с самого начала: это была виртуозная симуляция. Такая симуляция, которую его коллеги-предшественники пропустили.

Вилем был умница. Вилем не был болен. Вилем считал, что может обмануть любого врача.

Его огромное нежелание идти по стопам отца и неприятие всего связанного с армией настолько вскипятили ему мозг, что он выбрал малое из зол – небольшое психическое отклонение – и играл настолько гениально, что сам себе верил. Это не шизофрения или паранойя, где опытный психиатр расколется тебя сразу. С таким отклонением можно жить комфортно, играть на гитаре, петь, ничего не делать, но смешно даже подумать о военной карьере, где лаконичная речь обязательна. И симулировать этот диагноз, как казалось Вилему, легче лёгкого: неси всякую ерунду, главное, побольше деталей, о каких тебя не спрашивают. Неконтролируемый поток сознания. Синдром акына: что вижу, то пою. Вилем был уверен, что доктор купился на его игру. Глаза Вилема сияли, и Логинов нутром почувствовал, что под конец встречи пациент торжествовал, что сумел его одурачить. А в конце третьего приёма Вилем вдруг расслабился и заявил, что когда-нибудь снимут фильм-фарс о генерале, который, прежде чем отдать приказ о наступлении, час будет рассказывать о ночной сорочке своей жены и о кошачьей шерсти на ковре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.